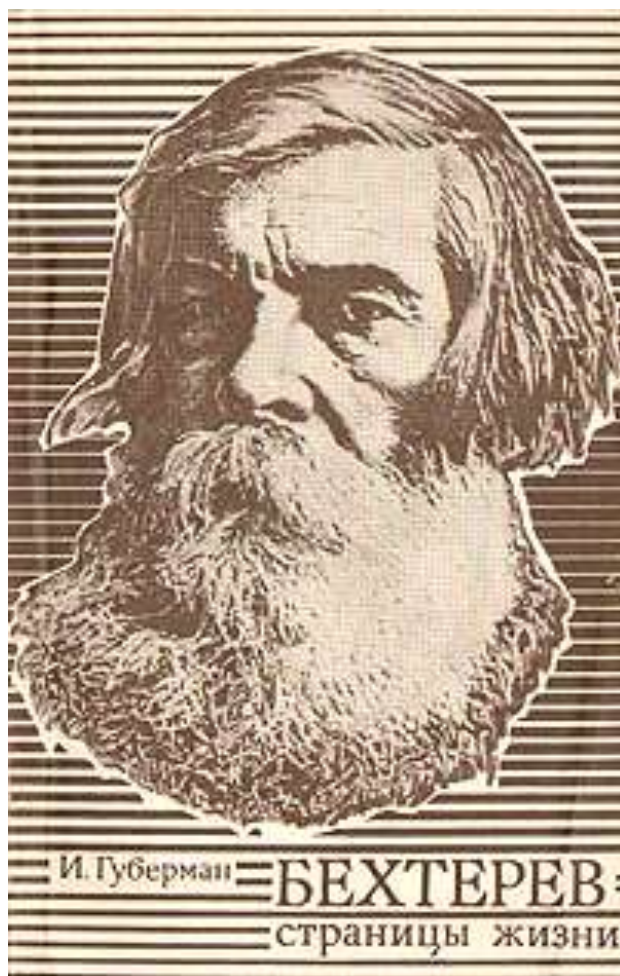


И. Губерман «Бехтерев: страницы жизни»



**Игорь Миронович Губерман**

# **Бехтерев: страницы жизни**

1977г.

В феврале шестнадцатого года, в самом конце месяца, академику Бехтереву предстояло произнести речь перед профессорами и студентами Психоневрологического института. Приближалась годовщина открытия этого уникального учебного и научного заведения, и его создатель не мог не выступить в такой день. А Бехтерев — он непрестанно ловил себя на этом и одергивал, потом опять бессильно спохватывался — почти весь месяц подолгу и часто, неотступно и навязчиво думал о смерти. Снова и снова возвращаясь мыслями от сотен своих ежедневных дел к небытию — безвозвратному и бесконечному. Только недавно отмечался его профессорский юбилей. Он терпеливо высидел несколько часов, с ласковой, и как ему казалось, благодарной улыбкой выслушивая перечисления его заслуг (несколько тысяч учеников, основатель отечественной неврологии, один из первооткрывателей мозга, психиатр, физиолог, педагог, мыслитель, клиницист, философ, нравственная высота), и тоскливо ожидал окончания потока восхвалений. Он не то чтобы не был тщеславен — вовсе нет; и известность, и легенды вокруг имени, и почтение окружающих, и назойливое внимание на улице, и сотни писем — это все было приятно ему, хоть и смешило сходство со славой опереточного тенора. Просто не надо было этого фейерверка, потому что он сам знал о себе гораздо больше и с высоты этого знания своего понимал гораздо лучше любого из выступавших, как действительно много сделал он — для науки, для людей, для России. Только он ведь и для себя это делал. Потому что сил было много до невероятия, потому что все получалось и удавалось, потому что весело и приятно было думать, ставить опыты, доискиваться и преодолевать. Кому расскажешь, что к ночи, засыпая от усталости в любом положении, он бывал так счастлив, что и утром просыпался с непрошедшим этим ощущением полноты и удачливости жизни, и с наслаждением, еще в постели, начинал писать очередную статью на любом подвернувшемся клочке бумаги, подложив под бумагу фанерное сидение от старого стула, и чертыхаясь только, когда карандаш попадал в маленькие дырочки, пробитые в этом сиденье. Вот подложку эту сменить — годами не хватало времени. А на остальное все — хватало. В собственное удовольствие утоление собственной жажды полнокровной и полновесной жизни.

На этих юбилейных торжествах и начал он вдруг думать о смерти. Так же пристально, непрерывно и истово, как думал о самых насущных проблемах, встретившихся за прожитые годы. Об отвратительной неизбежности смерти, о сравнительной ее легкости для верящих в загробную жизнь, о горячем желании бессмертия, искони присущем человеку, сочинивши множество легенд, мифов, иллюзий для утоления мечты о неумирании. О том, что кончается и что продолжается, что обрывается и что остается после смерти.

По давней привычке анализировать даже поток собственных мыслей, чуть отчуждаться и взглядывать на них со стороны, по очень полезной и важной привычке время от времени окидывать себя искоса отстраненным взглядом,

он попытался понять, отчего снова и снова возвращается к мыслям о смерти. От страха перед уже замаячившим где-то концом? Кажется, нет, хотя умирать дьявольски не хотелось. А может быть, подкрадывается какая-то скрытая до поры сильная и острая болезнь, и ее предчувствие, еще неосознаваемые симптомы ее начинают уже угнетать и исподволь готовить к мукам? Он часто встречал кое у пациентов. Нет, кажется, вполне здоров. Просто возмутительно здоров для своих почти шестидесяти лет. Впрочем, и размышления о смерти были какими-то безличными, будто не о собственной неотвратимой участи думал, а неуправляемо листалась память, подбирая мысли на заданную тему. Вспоминал, что все религии мира в основе своей содержали идею о разновидностях загробного существования, и это посмертное грядущее призвано было служить регулятором земной жизни, определять поступки по эту сторону бытия. Вспоминался Дон-Кихот, объясняющий очень земному оруженосцу своему, что за свободу и честь жизнь вовсе не жаль пожертвовать. Потом стихи всплывали внезапно в памяти:

Не говорите мне: он умер — он живет,  
Пусть жертвенник разбит, огонь еще пылает.  
Хоть роза сорвана — она еще цветет,  
Пусть арфа сломана — аккорд еще рыдает.

Нет, стихи эти были о чем-то другом, ассоциация подвела на этот раз, и он снова окунался в суету повседневных дел, десятков разговоров, свиданий, консультаций и приемов больных. Но выдавалась вдруг одна минута, и всплывали слова Метерлинка, что страх смерти — это просто боязнь неизвестности, в которую она нас повергает. С этим хотелось спорить, послушно приходили в голову возражения, но к чему все это было, он и сам никак не мог понять.

... Так длилось недели две, назойливо, надоедливо и неустранимо. В середине февраля он ехал на прием к больному, извозчик — все они знали его в лицо, петербургскую знаменитость, великого врача с дремучей бородой — все время оборачивался, порываясь что-то спросить, но не решался, так нахмурено и замкнуто было лицо седока, и опять текли эти мысли. Вспомнился философ и психолог Джемс, так уверенный в реальности загробного мира, что твердо обещал друзьям перед смертью отыскать способ духовного общения с ними. И еще вспомнилась ядовитая шутка Мечникова, что не нашел, должно быть, философ до сих подходящего способа — нету пока вестей от Джемса.

И сообразил вдруг, отчетливо и ясно, что происходило с ним две эти недели. И облегченно засмеялся. Извозчик обернулся, понял, что минута подходящая, просил почтительно:  
— Господин профессор, третий год мечтаю все спросить при случае — после смерти жизнь есть или нету? А?

От совпадения Бехтерев рассмеялся еще сильнее и неудержимей, кивнул головой многократно и убежденно сказал, посерьезнев:  
— Непременно есть. Наверняка и обязательно.

Соскочил и упруго пошел к подъезду, где его уже ждали. Извозчик, донельзя обрадованный, сильно стегнул лошадь и помчался на ближайшую площадь сообщить коллегам, что сказал знаменитый профессор. Так возникла еще одна легенда из тех многочисленных, что окружали имя Бехтерева.

А он невыразимое чувствовал облегчение и чуть удивленную радость, ибо в наблюдениях над собой тоже не единожды черпал факты, весьма интересные для дела. Сегодня он обнаружил — не впервые, нет, но так долго никогда не длился скрытый период,— его мозг, натренированный и дисциплинированный, где-то в глубинах своих, тайно от сознания и, боле того, сознанию пока неподотчетно уже недели две как готовил мысли и сведения для предстоящего выступления на годовщине любимого института, перед самыми близкими соратниками, друзьями, учениками. И тема эта — тема смерти человеческой, а точнее — человеческого бессмертия, тема эта, исподволь и не случайно зародившись в нем во время юбилея, властно и непрерывно собирала в кладовых памяти все, что могло пригодиться и понадобится.

В конце февраля шестнадцатого года академик Бехтерев произносил речь о бессмертии человеческой личности. Шла война, и вести о тысячах смертей разносили по России газеты и конверты писем. К безвозвратности теперь относились уже привычно, и слова о человеческой гибели волновали только, если гибли близкие. А Бехтерев говорил о бессмертии человека вообще. Потому что, говорил он, если «вместе со смертью навсегда прекращается существование человека, спрашивается, к чему наши заботы о будущем? К чему, наконец, понятие долга, если существование человеческой личности прекращается вместе с последним смертным вздохом? Не правильнее ли тогда ничего не искать от жизни и только наслаждаться теми утехами которые она дает...»

Нет! Потому что «ни один вздох и ни одна улыбка не пропадают в мире бесследно».

Нет! Потому что «каждая человеческая личность... Не прекращает своего существования вместе с прекращением индивидуальной жизни, а продолжает его в полной мере во всех тех существах, которые с ней хотя бы косвенно соприкасались во время ее жизни, и таким образом живет в них и в потомстве как бы разлитою, но зато живет вечно, пока существует вообще жизнь на земле... Поэтому все то, что мы называем подвигом, и все то, что мы называем преступлением, непременно оставляют по себе определенный след

в общечеловеческой жизни, который имеет соответствующие ему последствия в преемственном ряде поколений».

Вырисовывалась из неторопливых и веских слов седого глубокоглазого профессора впечатляющая и отчетливая картина того, как духовный облик каждого человека сотворяется то видимым, то неявным воздействием на него сотен других людей, еще живых и уже ушедших. И оттого — это следовало неопровержимо и убедительно — любой человек сам тоже не умирает, исчезая никуда и бесследно, а продолжает вечно жить во всей совокупности своих мыслей, дел и поступков, во всех проявлениях своей личности, отпечатавшейся в других и сказавшейся на их жизнях.

Конечно, все это больше напоминало проповедь, чем серьезную научную речь серьезного ученого. Однако идея о духовной преемственности человеческой, а значит, о двойном долге каждого — благодарности и ответственности, идея эстафеты духовной жизни вопреки телесной смерти оказалась очень близка Бехтереву, очень сродни глубинным его каким-то мыслям и неоднократно впоследствии повторялась им в различных вариантах. А сквозь призму этой глубокой идеи, сквозь высокую эту мысль — как достоверно и полно просматривается любая человеческая биография!

В том числе, конечно же, биография самого Бехтерева

Пристойно бы начать с отца, но становой пристав Бехтерев умер от злой чахотки, когда младшему сыну Владимиру было только восемь лет. И отца он даже помнил мало. Только был, очевидно, не совсем обычен этот мелкий деревенский полицейский, царь и бог в своей округе. В доме его непрерывно гостил, подкармливаясь и избывая тоску, ссыльный поляк, участник восстания шестьдесят третьего года. Он-то и обучил грамоте и арифметике шестилетнего сына своего странного опекуна и благодетеля. Это было в полувотяцком селе Уни Глазовского уезда Вятской губернии. Вскоре они перебрались в Вятку.

Много лет спустя Бехтерев стал вдруг часто вспоминать отца. Он уже работал в психиатрической клинике, ставил первые свои эксперименты на мозге, и собак для опытов доставляли ему низшие чины полиции. Он подолгу беседовал с ними — они почтительно задавали молодому доктору свои нехитрые вопросы о здоровье близких, охотно рассказывали о себе, конфузливо принимали деньги и преданно брали под козырек. Не таким был отец — потому и вспоминался так часто. Какая-то несостоявшаяся интеллигентность светила в нем, ища выхода и приложения. И потаенная страстность, то в любви к птицам оказывающая себя прихотливо (дом был постоянно заселен голубями, щеглами, канарейками и даже дятел мирно уживался рядом с вечно сонным филином), то проявляющаяся в перемене мест, в охотничьем запойном азарте, в трехдневных наездах гостей, когда

смешивались дни и ночи. Сын узнавал в себе отцовский характер - только дело для него отыскалось, к счастью, по плечу и по сердцу, да еще здоровья было — на десятерых.

Отец уехал лечиться на кумыс куда-то недалеко, а вскоре туда кинулась срочно вызванная мать и вернулась с цинковым гробом. Ей было менее сорока — вдове с тремя сыновьями, и всю оставшуюся жизнь она посвятила им. Ни одного не забрала из гимназии, только стала сдавать внаймы первый этаж дома, а хлеб - ради дешевизны — покупать у городских нищих. Дети вспоминали потом, как все трое, с нетерпением дождавшись, когда мешок бывал уже взвешен, кидались к куче ржаных ломтей, ища между ними горбушку пшеничного, обрезок пирога, ватрушку или сочную шанежку. Когда-то мать играла на фортепиано, неплохо знала французский, они парой были с отцом в несбывшихся духовных влечениях — теперь ее хватало лишь на заботу о достаточной еде и каждодневное посещение церкви, где находила она, очевидно, и забвение, и утешение, и радость.

С квартирантом тоже повезло. Он был откуда-то из Крыма, где не ужился с местным начальством, слишком рьяно занимаясь делами земства, на которое возлагал огромные надежды в деле просветления российского климата. А теперь по вечерам у него собирались жаждущие общения городские интеллигенты, и на жаркие от дыма и споров сборища эти гостеприимно допускался всегда молчаливый младший сын домовладелицы. У квартиранта была дочь Наталья, но что она красавица и единственная на свете, он обнаружил лишь спустя лет восемь. А пока, наслушавшись до головокружения, он назавтра с нетерпением ожидал конца гимназического дня, чтобы кинуться в городскую библиотеку.

Библиотека в Вятке была отменная. Купленная на частные пожертвования, она была открыта некогда молодым ссыльным Герценом. Выступая на открытии ее, произнес он слова, поразительно созвучные той идее, что спустя много десятков лет развил Бехтерев в упомянутой уже своей речи. Вот что сказал тогда Герцен:

«...Отец передает сыну опыт, приобретенный дорогими трудами, как дар, для того, чтобы избавить его от труда, уже совершенного... Книга — это духовное завещание одного поколения другому, совет умирающего старца юноше, начинающему жить... Но в книге не одно прошедшее; она составляет документ, по которому мы вводимся во владение настоящим, во владение всей суммой истин и усилий, найденных страданиями, облитых иногда кровавым потом... Это мысль человека, получившая относительную самобытность, это - след, который он оставил при переходе в другую жизнь».

Только книги в знаменитой этой библиотеке редели. Точнее — выдаваемые книги. Поступали из столицы инструкции-циркуляры, и часть книг по списку

исчезала в шкафах под замком. Соответственно карались и гимназисты, попавшиеся с этими книгами. В некоторых ученических уборных и карцерах можно было тогда прочесть кое-где на стенах лаконичное безадресное уведомление: «...за Белинского — 6 часов, Щелгунова — 10 часов и более, за Добролюбова в первый раз 12 часов, а во второй — 24 часа, за Писарева — аминь, за Ренана — аминь».

И потому в перечень духовных наставников Бехтерева мы не можем не внести тех неведомых и ненарочных благодетелей, что неустанно создавали списки книг не просто привлекательных, не просто таким парадоксальным образом рекомендуемых, но еще и читаемых в захлеб. Искала их в те годы и проглатывала залпом вся читающая Россия. Налагаемый запрет только усугублял всеобщий интерес и стимулировал жаркое обсуждение.

Естествознанию в России вообще повезло. Лучшие умы и души уповали на развитие естествознания как на самый верный залог освобождения России от темноты и векового рабства. Убежденность в благотворности любого знания, а особенно естественных наук была краеугольным камнем мировоззрения шестидесятых годов.

И они любой ценой распространяли, где могли, знания. На всю жизнь врезалось в память братьев Бехтеревых, как молодой учитель словесности однажды предложил желающим на час остаться и прочесть лекцию об устройстве и строении живой клетки — основы любого организма. На другой день он получил выговор от директора гимназии, а через месяц был уволен вообще. А лекцию его — не как знание уже, а как живое чувство восторга, удивления и интереса помнили еще много лет несколько десятков мальчишек. И несколькими из них это чувство отчасти определило жизнь. Это ведь неизмеряемая категория — что именно воздействует сильнее на нас, на нашу судьбу. Оттого так жизненно важно влияние людей друг на друга.

Откуда брались, как распространялись благотворные запретные книги? Здесь одну фамилию непременно следует нам упомянуть, чтобы забытый и безвестный человек получил по справедливости свою порцию благодарений. После революции в журнале «Былое» всплыло однажды в воспоминаниях и документах имя бывшего преподавателя Красовского. Он открыл в Вятке книжный магазин, а при нем — и библиотеку, скоро превратившуюся в клуб. Там обсуждали все на свете, книги давались там из рук в руки, и столь удачным был подбор посетителей, что взгляд недреманного ока несколько лет равнодушно скользил мимо. И только в конце восьмисот семьдесят четвертого года — уже год как Бехтерев покинул Вятку — последовали обыск, закрытие и кара.

А учителя гимназии? Что же учителя, они были типичны, в основном равнодушны и преданы своему служебному долгу, и никто из них ничем в

памяти чрезвычайным не отпечатался. Один добр, но плохо знал собственный предмет, другой пил горькую, третий безволен и слабохарактерен, отчего из урока в урок громко кричал, что вышвырнет всех вон из окошка, под аккомпанемент музыки из обломков стальных перьев, мяуканье, смех и свист. Учитель истории, правда, был хороший — не отсюда ли и вкус к истории, ярко окрасивший впоследствии все работы Бехтерева? И все же уроки истории — лишь просвет в туманной дали гимназического существования. Жизнь начиналась немедленно после занятий — настоящая, увлеченная, полновесная, до глубокой ночи ежедневно. Он потом интересную мысль записал в своих воспоминаниях: что этот остаток времени, по счастливому влечению отдаваемый посторонним книгам, еще и тем был полезен до чрезвычайности, что спасал от невежества, на которое обречен был заведомо любой, кто удовлетворился бы одним программным курсом.

И он читал, читал запоем и подряд. От «Истории умственного развития Европы» Дрэпера, от книги Спенсера «Опыты научные, политические и философские», от Писарева и Дарвина до таких книг, как «Дикий человек, смеющийся учености и нравам нынешнего столетия», а также «Портфель раскрытый, выдержки из сшитых тетрадей, автора, нежелающего объявить своего имени».

Он читал до боли в глазах, до головокружения, до ощущения нереальности своего собственного тела и существования своего. Тревожное чувство, что весь мир где-то там, за пределами Вятки живет интенсивно и увлекательно, заставляло вскакивать взбудораженно и ходьбой возвращать спокойствие. И опять книги и опять будоражащее чувство бессмысленного и бесцельного прозябания.

А потом добавили в гимназии восьмой класс, а учиться уже вовсе не хотелось, и неясно вроде было, чего же хочется (кроме явно неосуществимой мечты о естественном отделении физико-математического факультета университета), и уже был август, и опять в гимназию, и настроение было препоганое.

Вдруг появилось в газетах объявление, что медико-хирургическая академия в Петербурге будет в году принимать и окончивших всего семь классов - надо только сдать экзамены. На седьмой день выхода в столице пришли эти газеты в Вятку. И тем же вечером трое гимназистов, обсуждавших взволнованно на набережной эту сногшибательную новость, встретили Владимира Бехтерева, бредущего неторопливо домой с удачной предзакатной рыбалки. Встретили и дали почитать краткое газетное объявление о том, что в Петербурге, в Медико-хирургической академии желающие поступить туда выпускники даже седьмого класса гимназии «имеют подвергнуться поверочному испытанию, причем будет обращено особое внимание на предметы



математические в пределах гимназической программы, на зрелость суждения и знание отечественного языка».

Два дня оставалось на сборы, на согласие матери, на получение документов из гимназии. Два дня, потому что от Вятки добираться до Петербурга – семь, и пароход как раз идет двадцать третьего — значит, в последний день приема заявлений они успеют подать свои бумаги. А то, что Медико-хирургическая – ну и что? Все равно ведь два первых курса — наверняка естественные науки, а там еще посмотрим, как быть. И какая мать — молодец: не плачет (или плакала, но тайком, в церкви, куда убежала с раннего утра), и как документы в гимназии оформили охотно и быстро, на обыкновенной, не гербовой бумаге на основании свидетельства о бедности, и экзамены, конечно, я сдам, и какое вообще это счастье — попытать удачи в новой жизни. И гимназию — забыть навсегда.

(Спустя три десятка лет гимназия стала гордиться своим учеником, на всех торжественных выпускных и приемных собраниях рассказывали трогательно и с подробностями, как обожал примернейший гимназист свое любимое учебное заведение).

Неторопливо шлепает по воде утлый парходик компании «Кавказ и Меркурий», сидят на его верхней палубе четыре взволнованных гимназиста. И пока сидят они, то притихшие и молчаливые, то вполголоса гадающие о предстоящем, встают перед автором трудно преодолимые соблазны. Только назвав тем самым отрезав себе возможность уступить искушению, можно будет продолжать книгу.

Главная особенность великих людей состоит в том, что они рождаются изумительно вовремя. В науке ли, в жизни, бесконечно многообразной, в искусстве наступает вдруг ситуация, когда нужен, просто необходим некий узловый талантливый человек, средоточие сделанного и обещание перемен, и он приходит, появляется, возникает и по-хозяйски властно заполняет пустоту (а что была пустота, только обратным взглядом можно обнаружить из высокого далека прошедших лет). Можно радоваться тому, что такие люди приходят, и вспоминать прекрасные слова Гёте: «Высокоодаренная личность составляет величайшее счастье своей страны и всего человечества». Но когда описываешь такую жизнь, возникают, как уже было сказано, неодолимые искушения.

Самое первое из них — соблазн предопределенности. Так и тянет написать, не сверяясь с тем, что известно, о ранней незаурядности человека, о сизмальства явственных способностях, одаренности, своеобразности. И уж, конечно, превосходной и завидной успеваемости по всяческим и разным предметам.

Но, увы, вмешивается непреклонная реальность. В случае Бехтерева — выпускные гимназические отметки. Ровный и даже своеобразно красивый узор из сплошных троек украшает его более чем скромное выпускное свидетельство. Две четверки — по физике и закону божьему — выглядят там непрошено и случайно,

Да, но мы уже знаем о его запойной увлеченности книгами по естествознанию. Может быть (второй соблазн), именно здесь уже прорезался и проявился его необычный впоследствии интерес к мозгу? Какую, согласитесь, привлекательную и заманчивую символику подсовывает нам один факт его биографии: в одно и то же время учатся в вятской гимназии и сидят бок о бок в библиотеке двое: Владимир Бехтерев и Константин Циолковский. А вскорости — тоже одновременно почти — оба покидают Вятку, чтобы с одного началась дорога человечества в космос, а имя другого стало неотрывным от познания космических глубин мозга.

Вот опять, однако же, незадача: вовсе не собирается именно мозгом заниматься будущий естествовик Бехтерев. То он думает посвятить себя акушерству – интересно ему, видите ли, как применяются точные законы механики в таком тонком деле, как рождение человека; то глазные болезни привлекают к себе его внимание. Занимает его, насколько законы физики способствуют исследованию зрения.

А еще он везет с собой тетрадку записей, и вовсе к естествознанию не относящихся: об истории, обычаях и нравах вотяков, среди которых много жил, и о которых много знает всякого, неведомого доселе этнографам, и надеется опубликовать.

Просто силы кипят неизбежные в этом молодом вчерашнем гимназисте, а кто введет его в русло пожизненного будущего увлечения — о тех и разговор особый.

Начать его придется с обрывков истории — хаотических, случайных и разрозненных, но для дальнейшего нам необходимых.

...Веками знало человечество муки душевного недуга, никак не умея ни объяснять их, ни тем более излечивать. Объяснения-то были, впрочем, только не того рода, чтобы повлечь за собой хотя бы приблизительные догадки об исцелении. Но из века в век во всяком случае, фиксировались яркие проявления любой душевной ненормальности, так что на сегодняшний день летопись психических заболеваний насчитывает тысячелетия. Еще древний вавилонский царь Навуходоносор «скитался, как вол, опустив голову, по пастбищам; весь оброс и питался травой». Спартанцы сажали на цепь и в колодки своего царя Клеомена, обезумевшего от пьянства. Описаниям таким — несть числа. Появившиеся в разных странах в разное время приюты для душевнобольных напоминали скорее тюрьмы, чем

больницы: пациентов нещадно били, заковывали в цепи и кандалы, устраивали мучительные лечебные процедуры, насильно скармливали рвотное и слабительное — все, чем обладала медицина. Побой почитались средством целебным — еще в девятнадцатом веке один довольно гуманный философ писал, что «палка заставляет помешанных снова почувствовать связь с внешним миром».

Подлинную, человечную свою историю психиатрия начинает с Пинеля — человека невероятного мужества, врача, в котором поразительна не только (да и не столько) интуиция врача, сколько дар куда более редкий — способность быть Человеком, то есть сострадать и действовать во имя сострадания. Он первым мире снял с больных цепи.

Было так. Пинель стал главным врачом приюта для умалишенных Бисетра в годы Великой французской революции. То непередаваемое чувство освобождения, что охватило тогда Францию, овладело, без сомнения, и Пинелем — хочется думать, что именно это ветровое ощущение свободы и провозглашенных всечеловеческого равенства и братства заставили его подумать о больных. В то время предместье Бисетр было огромной человеческой свалкой, где содержались, помимо умалишенных, еще нищие и калеки, и бесприютные старики, и бродяги, и проститутки и уголовники всех мастей, и больные заразными болезнями. Одновременно богадельня, сумасшедший дом и тюрьма — страшное это было место. Беспокойные больные были прикованы там к стене прочнее, чем бандиты и убийцы; не только за руки и ноги, но еще и за шею. Невозбранно процветала чудовищная жестокость, голод, болезни, смерть.

Когда Пинель попросил у революционного правительства разрешения снять цепи с душевнобольных, это вызвало недоумение и замешательство. Пинель горячо настаивал. Тогда знаменитый Кутон, близкий друг Робеспьера, впоследствии казненный с ним вместе, неустанный организатор трибуналов и расправ с несогласными, угрожающе сказал Пинелю: «Гражданин, я завтра навещу тебя в Бисетре, горе тебе, если ты нас обманываешь и между твоими помешанными скрыты враги народа». Пинель согласно кивнул головой, понимая, как смертельно рискует.

И Кутон сдержал слово. Назавтра он побывал в Бисетре. Верней, его принесли на носилках — ноги у него были парализованы, сам он ходить не мог, его либо носили приставленные к нему люди, либо он с трудом передвигался сам на специально сделанной для него деревянной трехколесной коляске. Осмотрев больницу-тюрьму, он мрачно сказал Пинелю: «И ты, гражданин, настолько безумен сам, что хочешь расковать этих зверей?» Пинель ответил фразой, с которой и начинается, быть может, настоящая человеческая психиатрия: «Гражданин Кутон, я уверен, что эти больные так беспокойны потому, что их лишили воздуха и свободы, и я

многого ожидаю от совершенно другого режима». Кутон ответил ему: «Хорошо. Поступай как знаешь, но я боюсь, что ты станешь жертвой собственной смелости».

Не забудем отметить здесь мимоходом, что великолепные прекрасодушные люди уже и до Пинеля озабочивались освободить больных, но все не находилось у них ни времени на посещение Бисетра, ни решимости окончательно позволить врачам это сделать. И потому, справедливо воздавая должное Кутону, очень точно писал впоследствии один психиатр: «Этот паралитик с железной волей сделал то, чего не сделали великие люди, мечтавшие о реформе Бисетра». Величие же самого Пинеля явственно и неоспоримо. Имя его навсегда осталось в истории медицины.

Итак, больных начали освобождать. Один из них просидел на цепи сорок лет, за это время ни разу не видя солнечного света. Уже давным-давно он был совершенно безопасен для окружающих. Другой (когда-то он был писателем) настолько одичал за двенадцать лет животного существования, что отбивался, когда его освобождали. Через несколько недель он был выписан (только для того, правда, чтобы вскоре вмешаться в политику и немедленно попасть на гильотину). Третий, высокий силач, по собственной доброй воле сам стал служителем в больнице и спас однажды жизнь Пинелю, когда того с криками «На фонарь!» окружила науськанная кем-то темная взбудораженная толпа.

Снятие цепей было великим шагом. Пинель, по точному выражению психиатров, возвел сумасшедшего в ранг больного. В других странах это было сделано позже. Когда (позднее лет на двадцать) освобождали узников из английского Бедлама, часто выяснялось, что на цепи следовало держать не их, а надзирателей, от безнадзорной власти потерявших человеческий облик и все чувства, присущие обычно человеку. Избиения и истязания больных были у них и нормой присмотра и развлечением. Так, в одной из клетушек был найден рослый мужчина, закованный в цепь, один конец которой проходил в узкое отверстие в стене. Он когда-то ударил надзирателя, был посажен на цепь, и подлый победитель, укорачивая ее, ежедневно притягивал несчастного вплотную к стене, причиняя ему невыносимые физические и душевные муки. Надзирателя никто не мог остановить, он был полным и единственным властителем судьбы больного. Только неизвестно, кто из них был на самом деле более ненормален.

Позже всех освободили умалишенных в Германии. Здесь и процедуры, считавшиеся целебными, были наиболее мучительны для больных. Это вовсе не было, естественно, проявлением массовой профессиональной жестокости врачей, а являлось лишь следствием их тщательного и усердного воплощения в жизнь тогдашних теоретических воззрений на причины, развитие и течение психических болезней. Еще до середины прошлого века считалось многими,

что психическое расстройство — собственная злая воля больного, предпочитающего общение с внутренним демоном и отвернувшего внимание свое и рассудок от реального мира. Чтобы вернуть это внимание, больных били плетками, прижигали каленым железом, неожиданно сбрасывали с высоты в ледяную воду, лили на голову сильную струю воды или тонкую на темя (а совсем ведь недавно такую пытку применяла инквизиция). Употребляли жгучие втирания и нарывные пластыри, вращали в огромном полом колесе (человек выдерживал в нем всего несколько минут, а потом терял сознание или молил о пощаде). Для буйствующих и просто возбужденных применялись смирительные рубашки и камзолы, специальные стулья и постели, к которым людей привязывали; применялась растяжка на канатах посреди комнаты в распятом положении (от усталости быстро наступали спокойствие и сонливость); применялся мешок, сквозь который больной видел все, как в густом тумане, в ходу были кожаные маски и шлемы, грушевидные затычки в рот для кричащих. Разно лечили разные виды умалишенности, но все эти способы равно оказывались теоретически обоснованной мукой.

Продолжались шедшие издревле горячие споры о делении болезней на виды, группы и разновидности (Споры, кстати, не закончились по сию пору; так, например, сейчас особенно громки голоса, утверждающие, что шизофрения — только общий ярлык для нескольких совершенно разных душевных расстройств.) Болезнями объявлялись зачастую и просто социально обусловленные типические характеры. Так, в прошлом веке один немецкий врач выделил среди нездоровых состояний психики так называемую «придворную болезнь». Он описал высокомерного, жадного и трусливого, то почтительного, то наглого, туповатого высокого чиновника, давно уже разучившегося думать и работать, смертельно дрожащего за свое место и испытывающего тоску лишь при мысли, что он может лишиться монаршей милости, готового на все, что угодно, ради сохранения собственного благополучия. Интересно, что материалы для этих обобщений (книга называлась «Врач-философ») автор собрал при Екатерины II, у которой несколько лет состоял домашним врачом.

Между прочим, судьба душевнобольных в России оказалась намного мягче, нежели в других странах. Болезнь считали наказанием свыше, результатом наговора, сглаза или колдовства, и, так как собственной вины больных не было в их поведении, их жалели и не преследовали. Издавна монастыри служили убежищем всех скорбных духом, юродивых, одержимых, блаженных. Лечения не было, естественно, никакого, но их не жгли на кострах как ведьм и колдунов и не истязали бесплодным мучительством многочисленных смирительных средств. Во второй только половине восемнадцатого века началось в России строительство домов призрения. Правда, вполне спорно, к лучшему ли переменялась участь больных, ибо сто лет спустя посетивший такое заведение молодой юрист Кони назвал его

потом «филиальным отделением Дантова ада». Врачей ссылали туда на время, в наказание за какой-либо проступок или при неладах с начальством. Исчерпывающие свидетельства остались нам как память о том, что творилось там. Вот одно из них для примера:

«В затхлом воздухе палат раздавались крики, пение и стоны, и все это сливалось в какой-то неопишуемый хаотический гул. Между исхудалыми, с провалившимися щеками больными свирепствовала цынга. Самые разнообразные формы душевных заболеваний помещались в одних и тех же палатах, больные буйные находились вместе со спокойными, трудными и неопрятными, а самые формы душевных болезней отличались какими-то особенно жестокими проявлениями, составлявшими результат дурного и неумелого обращения с больными».

Сохранились и другие, не менее яркие, описания того, как обстояло дело с призреванием и лечением душевнобольных в России уже второй половины прошлого века.

В 1857 году занялся психиатрией молодой врач из медико-хирургической академии Балинский: с него-то и начинается вполне научная история психиатрии в России. Его ученик и преемник Мержеевский (чьи слова о состоянии лечения в этом госпитале мы только что приводили) уже регулярно читал лекции по психиатрии в академии, куда намеревался поступить Бехтерев. Чисто описательным было знание о расстройствах психики, слабо предположительными — толки о нормальном устройстве и работе мозга, только еще начиналось единственно перспективное — анатомо-физиологическое направление.

Впрочем, уже было положено начало, хотя веки будущего понимания возникали понемногу и будто прокладывали путь друг другу. Некоторые из них необходимо помянуть немедля.

Декарт. Семнадцатый век. Живое тело, утверждает он — лишь чрезвычайно изощренный механизм. Все его отправления совершаются так же, как работа часов или другого любого автомата. Не нужно «в этом случае предполагать никакой растительной или чувственной души, никакой особенной причины движения и жизни, кроме крови и ее сил, возбуждаемых теплотой». Труп, утверждает Декарт, мертв не потому вовсе, что душа вылетела из него вон, а потому, что механизм телесной машины разрушен, как испортившиеся часы (это говорится в семнадцатом веке! — еще не остыли костры, на которых инквизиция жгла усомнившихся и еретиков). Только что открыто кровообращение, и идея Декарта о работе нервной системы удивительно напоминает механику кровообращения. Непрерывная, вроде жидкости, действует, по его идее, в нервах некая субстанция, названная им жизненными д?хами. Действует очень похоже на работу садовых статуй-автоматов,

установленных в парке, где любил он гулять. В гроте — нагая купальщица, скрывающаяся при приближении человека, и мальчик, окатывающий водой (идея посетила Декарта именно при виде этих игрушек-автоматов). Так, ощутив жар от огня, жизненные д?хи, передаваясь по нервам, как вода - по скрытым трубкам внутри садовых статуй, сообщают мозгу о том, что руку следует отдернуть. Передавая в руку давление таких же жизненных духов, мозг велит ей отдернуться, а ногам — отойти. Замените все это сегодняшними словами «нервный импульс», и все станет на свои места, мы получим классическую схему действия, названного рефлексом. Рефлекс в переводе - отражение; наши действия и поступки — это отражение, реакция на события, проистекающие во внешнем мире.

Еще немного времени прошло (это нынче оно спрессовано так, что счет идет по годам, а то и месяцам, здесь мы полтора века пропускаем сейчас преспокойно, листая историю наскоро, ибо нам уже пора в девятнадцатый), и убедительное выясилось подтверждение декартовой идеи о рефлексе: сведения, оказывается, поступали в мозг по одним нервам, а приказы мозга мышцам уходили по совсем другим. Рефлекс обрастал анатомическими уточнениями.

Все эти действия относились большей частью к спинному мозгу, и потому идею Сеченова о том, что и вся психическая жизнь вообще — скопище разнообразных рефлексов, справедливо назвали потом гениальным взмахом мысли. Сеченов утверждал с убежденностью, что и самая мысль — не что иное, как рефлекс, реакция на события внешнего мира, только временно лишенная третьего звена своего — немедленного действия, как у отдергивающейся от ожога лягашачьей лапки. Сеченов написал об этом знаменитые ныне слова полной уверенности и понимания: «Смеётся ли ребенок при виде игрушки, улыбается ли Гарибальди, когда его гонят за излишнюю любовь к родине, дрожит ли девушка при мысли о первой любви, создает ли Ньютон мировые законы и пишет их на бумаге - везде окончательным фактом является мышечное движение». Но если все поведение человеческое соткано из рефлексов, то нет и сомнений, кому и как разрабатывать далее науку о мозге. И Сеченов этих сомнений лишен: «Кому? Физиологам. Как? Путем исследования рефлексов»... Слова эти стали программой для нескольких поколений исследователей.

А еще в то же самое приблизительно время сразу несколькими учеными — и физик среди них был, и физиологи — была измерена скорость прохождения сигнала по нервам. Разными способами измерена — и на обезглавленной лягушке (проходило ничтожно малое, но время), и на живом испытуемом (отдергивал руку человек) — и оказалось, что психические процессы совершаются во времени и пространстве, а вовсе не мгновенно, как только что полагали. Было от чего торжествовать всем, кто мечтал исследовать

механизмы действия психики, оказавшейся реальным процессом, а следовательно, явлением познаваемым.

И не счесть потому людей, одержимых в те годы жаждой приступить к исследованию мозга вплотную – вроде бы и пути наметились, и средства, а главное — появилась уверенность, что усилия — не бесплодны, и что можно, можно, достижимо познать и вскрыть механизмы психики здоровой и расстроенной.

Все это (или почти все) Бехтерев не прочитал, а услышал (прочитал потом) в горячем, любовном и вдохновенном изложении, предназначенном притом ему одному, что более усугубило воздействие. Ибо внезапно случившаяся с ним беда столь же неожиданно обернулась крупной удачей - для него лично и для судьбы науки о мозге. Да, да, преувеличения здесь нет.

...Поступление в академию оказалось чреватым длительной и сильной нервотрепкой. Начавшейся еще до экзаменов, ибо выяснилось незамедлительно — в последний день подачи заявлений! - что Владимиру Бехтереву не хватает полугода возраста. Шестнадцать с половиной было позорно мало, чтобы претендовать на звание студента. Когда просьба, обращенная к начальнику академии — почти слезная от ужаса просьба, — завершилась усмешливым обещанием простить недостающие полгода, начались собственно экзамены.

А после них — он выдержал, он студент! — сразу же почти после них началось неодолимое недомогание. Днем непрерывно хотелось спать, а ночью мучила бессонница, доселе неизвестная никогда. Тяжелая, налитая будто мутной грузной жижей голова не работала совершенно. Достигнутый успех, еще вчера казавшийся полным счастьем, представлялся никчемным делом, ибо ясно было, что учебу не одолеть, да и не хочется. Жить хотелось тоже не очень. Читать что-нибудь не хватало сил, и мерзкая подступала к горлу от мгновенной усталости липкая тошнота. Ватными были ноги, руки, все тело. И все, все на свете раздражало.

Так шестнадцати с половиной лет впервые в жизни и сразу в качестве больного переступил будущий знаменитый психиатр порог психиатрической клиники. Поставленный ему диагноз — меланхолия — он потом отвергал, говорил, что была у него от нервного перенапряжения обычная несильная неврастения.

Так состоялось в больнице его знакомство с молодым палатным врачом, недавним выпускником академии Иваном Сикорским. Сорок лет после этого длилась их приязнь и дружба, а когда однажды они сразу и вдруг оказались непримиримыми врагами, о предмете их розни узнал весь мир.



В Иване Сикорском, двадцати с небольшим лет плотном восторженном блондине, кипит неутомимая жажда проповедовать любовь к психиатрии и психологии, к познанию человека вообще. Сам он уверен, что сделает чрезвычайно, головокружительно много, и наполеоновские тщеславные планы свои ни от кого не собирается таить. Владимир Бехтерев тоже коренаст и плотен, но куда пожиже своего старшего собеседника, а смотрит на него с таким обожанием, так и ловит и впитывает каждое слово, что одно удовольствие посвящать мальчишку в историю и перспективы своей действительно любимой науки, полужизни пока, полуискусства.

Дня через четыре посвежела и прояснилась голова, через неделю хотелось уже по-прежнему бегать и прыгать. Но двигаться следовало несуетливо и с достоинством (студент!), а настаивать на выздоровлении смысла не имело вовсе, ибо повезло невероятно, фантастически, сказочно: с ним дружит законченный врач, самый знающий человек на свете, самый интересный и глубокий ум из всех, что приходилось встречать. Мгновенно потускнели в памяти все былые кумиры, и надо было только следить, чтобы не проступило это обожание наружу, а то вмиг станет неинтересно врачу Сикорскому — эка невидаль, почитатель! Вот сказать ему что-нибудь стоящее в ответ, чтобы ему тоже было интересно, вот было бы здорово и замечательно, только сказать совершенно нечего. Но несколько дней спустя уразумел мальчишка Бехтерев, с радостью и облегчением понял, что не нуждается его небом посланный просветитель ни в собеседнике, ни в оппоненте. Ни в ком, кроме благодарного, жадно впитывающего, благоговейно внимающего слушателя.

И все время, что оставалось у него от несложного ведения неотложных доверенных больных, отдавал теперь Сикорский пациенту в непомерном халате, неизмеримая темнота которого только с таким же неизмеримым любопытством его могла бы сравниться.

Сикорский рассказывал, и зримые вещественные картины-образы проносились перед глазами Бехтерева, и оживали пустые ранее имена, емко воплощенные теперь в главное, центральное и ярчайшее дело, открытие или событие своей жизни. Главное не для него самого и его личной судьбы, а для того неустанного, непрерывного, исподволь веками текущего процесса, назначенного в ближайшие годы вырваться на всеобщее обозрение бурным потоком исследований и озарений. Для процесса познания человека. Познания, которому время пришло не только потому, что созрело некое новое понимание, но еще и потому, что по всей ситуации, сложившейся в мире, — пора! Это главное сейчас и центральное, без этого пойдут вкривь и вкось все другие знания, ибо человек — мера и пружина всех событий.

- Время наше — великое в этом смысле, — горячо говорил Сикорский застывшему, как изваяние, слушателю. — Великое, потому что сдвинулось, в сущности, самое главное в научном сознании: отношение к мозгу. Все, что

напридумывал этот Галль — о шишках, ведающих математическими способностями, выступах религиозности, шишках юмора и доброжелательства, - не такая уж чушь, если хотите, зря над ним смеются многие. Тут ведь главный шаг был, присмотритесь, сделан: в мозге увидели отделы, ведающие то тем, то этим. А если они есть, эти отделы, надо докопаться до них. А после уточнения структуры, после выяснения, чем все отделы занимаются и какие функции выполняют,— поразительная вглубь дорога открывается, согласитесь: к полному пониманию, что аз есмь!

— И надо быть слепым идиотом,— заканчивал Сикорский почти каждый свой рассказ или историю, - чтобы чем-нибудь иным заниматься, нежели познанием человека.

А слушатель слушал, и судьба его была решена. После полутора месяцев больницы он вышел на волю и с головой окунулся в студенческую шумную жизнь, однако самые счастливые его часы по-прежнему выпадали, когда удавалось свидеться с Сикорским. Неравной была их дружба. И это устраивало Бехтерева, хотя с другими он неравенства не терпел. Вдруг ощутил в себе честолюбие и силы. Во что бы то ни стало в срок кратчайший дойти до тех невиданных олимпийских высот, где пребывал его друг-наставник. Мальчишескую привязанность и почитание испытывал он к Сикорскому, но согласился бы умереть скорей, чем признать, что не сумеет сравниться. Много еще лет спустя свои успехи часто ревниво поверял этим заветным уровнем, пока не обнаружил однажды, что вожделенный уровень давно и далеко позади.

Сикорский, не скупясь, изложил ему довольно скоро собственные честолюбивые планы. Начать следовало с детской психологии, чтобы ее узлы и пружины подраспутав, приступить к человеку взрослому. Эта мысль и этот путь казались ему единственно верными и не Бехтереву было опровергнуть или возразить. Самому же Бехтереву рано было думать об этом – три курса общих еще предстояли ему даже до начала лекций по психиатрии.

Неожиданная болезнь и счастливое приятельство сыграли в его жизни еще одну роль, о которой он только много лет спустя догадался, окидывая дальним взглядом свою наполненную жизнь тех лет...

Это были годы, когда студенчество кипело и волновалось, когда не было ни одного землячества, где не читали бы подпольную литературу. Только что закончилось арестами массовое «хождение в народ» — заведомо обреченная, но святая в своей жертвенности и наивности попытка таким путем переменить удушливый климат страны. Уже более тысячи сидели в тюрьмах, и готовились судебные процессы над ними; уже сколачивалась новая «Земля и воля», из которой вскоре вышла «Народная воля», свершившая свой суд над царем. Очень трудно было не вовлечься в эту неравную борьбу, да еще с

азартом Бехтерева, да еще с его готовностью не раздумывая сложить голову за любое светлое дело — готовностью, воспитанном чтением всего, что читала в те годы молодая Россия. Бывший народоволец, впоследствии известный биохимик Бах исчерпывающе писал, какое впечатление произвело на него чтение одного только Писарева: «Любя природу, я рано почувствовал стремление к познанию ее, но осмыслилось это стремление только после того, как я прочел Писарева... От него же я узнал, что я должен приносить пользу обществу». Другие писали то же самое, а что как не свобода казалось в те годы самым неотложным и самым бесполезным обществу свершением? И потому идея, всецело завладевшая Бехтеревым в больнице, идея, что мир перевернет и переделает наука, особенно наука о человеке, увела его властно и бесповоротно от разделения судьбы точно таких же, как он (по горячности, по образу мыслей, по одержимости), увела от арестов, ссылок и казематов...

И все же летом, после третьего курса, он уехал в Болгарию на войну. Уехал так же просто, как недавно в Петербург из Вятки. Никто не побуждал его и не уговаривал подставлять свою голову под пули. Предложили просто, и все. Двое братьев на собственные деньги, доставшиеся им по наследству, организовали санитарный отряд и предложили ему присоединиться. Не хочешь - пригласим другого. А разве три года назад уговаривали? Тоже просто предложили: «Едем?» — «Едем!» И еще много таких поступков было в его долгой жизни. Он откликнулся с полной готовностью.

Военная кампания его длилась всего четыре месяца — началась на переправе русских войск через Дунай и закончилась жесточайшей лихорадкой от ночлега на сырой земле после тяжелейшего боя под Плевной. Здесь, под Плевной, они развернули свой добровольческий госпиталь на сорок коек. Недалеко расположился и регулярный лазарет — он был всего лишь вдвое больше. К вечеру с поля боя поступило свыше полутора тысяч раненых. В палатках, на голой земле, ибо носилки-кровати служили в это время лишь носилками, разместилась только треть них. «Они лежали не перевязанными, — вспоминал потом Бехтерев, — бок о бок друг с другом, а нередко с умирающими или уже с умершими. Теснота была такая, что трудно было проходить между ранеными, не рискуя наступить кому-нибудь на поврежденную руку или ногу. Но все те, которые помещались в палатках, при таких условиях были положительно счастливыми по сравнению с теми, кто за неимением места оставался прямо на размытой грязной под открытым небом, сыпавшим мелким дождем... и притом часто даже без верхней одежды, которую раненые покидали ради своего облегчения еще на поле сражения. Все эти несчастные, дрожа от холода и сырости, мучимые страшными болями от ран, ползком добивались до палаток, громоздясь друг на друга и моля врачей о жалости. Но что можно было сделать, когда не было возможности даже взять откуда-нибудь соломы, на которую можно было бы укладывать постоянно подвозимых раненых? Общий стон и вся картина были вообще так ужасны, что ум человеческий и вообразить этого не

может... Лишь на третий день после сражений все принятые в нашем пункте раненые были перевязаны, а некоторые из них и оперированы».

Три эти дня, полные бессонной и непрестанной работой, мучительным бессилием облегчить участь стонущих и кричащих (медикаментов тоже не хватало) даром для Бехтерева не прошли. Он вернулся в Петербург совершенно иным, нежели покидал его, и главное в этом изменении было чувство сострадания, более не оставлявшее его никогда. Он навсегда научился сострадать чужой боли за те трое кошмарных непрерывных суток, когда суетился, как все, что-то делал, как все, а сам изнемогал, пыточно изнемогал от того, что помочь бессилён. Он научился сострадать намного раньше, чем научился лечить, — не потому ли он и стал таким необыкновенно помогающим врачом?

Он вернулся спокойный, повзрослевший, отвердевший. Риск и самоотвержение — они ведь не только победою или удачей красны; непременно возмужанием они чреватые, тем куда более крупным шагом к зрелости, чем дается любым сроком спокойного созревания. За короткие минуты какие-то, для самого себя незапамятные, он стал мужчиной.

А еще, что весьма существенно, — мужчиной стал человек, отлично знающий уже, чего хочет. Оттого, быть может, столь велики оказались работоспособность и целеустремленность Бехтерева в последние два года учебы. Сдав блестяще три десятка экзаменов, он был приглашен на конкурс для оставления при академии (так готовили будущих профессоров), написал экспромтом работу о лечении чахотки и оказался — после тайной баллотировки — избранным для подготовки к профессоруре. Появились первые больные, первые койки в военной клинике, первое появилось ощущение, более не оставлявшее никогда, что вышел на большую дорогу, кою никому на свете одолеть, конечно, не под силу, кроме одного его. И потому — спешить надо, спешить, спешить.

Заканчивая обучение, молодой доктор Бехтерев, как и все его соученики, перед получением диплома готовно и весело подмахнул, не вдумываясь по молодости в суть, факультетское обещание врача — знаменитую клятву Гиппократова. О ней время от времени говорили и вспоминали самые разные профессора то на лекциях, а то и в клинике, но как-то само собой разумеется в молодости, что предстоящие нравственные проблемы будут вне сомнения разрешены к лучшему, и торжественная клятва эта выглядела не более чем данью ритуалу, красивой и пустой формальностью. Слова о святом сохранении тайны больного и неупотреблении во зло оказанного доверия выражали, казалось, мысль столь определенную и несомненную, что и соблюдение ее представлялось несложным и как бы единственно естественным поведением.

Прошло менее трех лет, и начинающему врачу Бехтереву (денег не хватало чрезвычайно, пришлось урывать время на частную практику, и она пошла очень успешно, к счастью) представился серьезный нравственный выбор.

Стояла на дворе жаркая осень восемьдесят первого года, и зрачок мира не просто останавливался на России, а был прикован к ней неотрывно. Весной, среди бела дня в центре многолюдной столицы неведомая горстка заговорщиков казнила царя-«освободителя». Уже прошел первый процесс, и пятеро были повешены, однако смутные слухи о переполненных тюрьмах и скором взрыве всех набережных и самого дворца, слухи о бесчисленном количестве вооруженных до зубов нигилистов продолжали ползти по городу. Вокруг Зимнего еще не были засыпаны противоминные рвы. Наследник отсиживался в Гатчине пленником ожидаемой революции.

— И представьте себе, доктор, — говорил сорокалетний пациент, сановный чиновник, удобно расположившись в кресле и как бы помимо гонорара благодаря еще и своей беседой за на редкость удачное и быстрое излечение то и дело немеющей руки, - представьте себе, в этих кошмарных условиях кому-то приходит в голову благостная и счастливая идея организовать вокруг императора еще и незримую добровольную охрану. Называться она будет священной дружиной, и сеть тайных агентов куда надежнее укроет самодержца, нежели платный сброд. Более того, намечен список лиц, с которыми расправа будет столь же коротка, как их собственные злодеяния, мы найдем для этого специальных людей. Всех приговоренных я еще не знаю пока, но среди них обязательно будет Гартман, организатор подкопа в Москве под полотно железной дороги — помните? — и непременно одним из первых — князь Кропоткин, столь дерзостно бежавший из тюремного госпиталя. Он сейчас где-то в Париже, простодушно уверен, что уже недосыгаем для наказания, пишет там что-то, а его раз — и настигнет невидимая карающая рука. Неплохо, согласитесь, придумано, а? Надеюсь, естественно, на полнейшее молчание ваше.

Бехтерев кивнул головой машинально, слушал что-то еще, пациент был словоохотлив и доверителен, а думал, думал сейчас молодой доктор о вещах совершенно иных, прислушиваясь с удивлением не к голосу даже внутреннему, а к крику о том, что необходимо предупредить приговоренных. Как, каким образом, через кого? Неизвестно. А врачебная тайна? А клятва, принесенная так недавно?

И еще отчего-то вспомнилась ему икона, висевшая исстари в доме матери возле ее любимой Казанской богородицы. На ней — мальчишкой Бехтерев подолгу рассматривал ее, даже на скамейку вставал — по самому краю иконного поля, уже ноги белого коня пропадали за линией обреза, скакал обреченный всадник. А над ним, все пространство победно занимая, с поднятым для удара копьем — Дмитрий Солунский. И хотя уже знал Володя-

гимназист, что Дмитрий — святой великомученик, а копьем поражает языческое зло, в чьем-то там лице воплощенное, а все равно жаль было беглеца, бессильно обратившего лицо вверх, к копью и неотвратимой гибели. Это была сейчас странная ассоциация, потому что взрывателям Бехтерев не то чтобы сочувствовал, но совсем не почитал великим злом их попытки бомбой переменить российский климат, а пришла она в голову оттого только, что и здесь и там через мгновение предстояла смерть. А смерть ненавидел Бехтерев. Сейчас он был волен предотвратить чью-то смерть, и совесть его — странное дело — вовсе не противоречила неминуемому клятвопреступлению.

Очень много лет спустя поздно вечером шли неторопливо по Шпалерной два очень известных в России академика - правовед Кони и невропатолог Бехтерев. Шли неспеша, оттягивая расставание, после каких-то жарких споров в Вольной философской ассоциации, - было некогда такое общество в Петрограде. Оба еще были членами Медицинского совета — этого высшего медицинского учреждения в России, своеобразной академии, как потом именовали ее историки науки. Анатолий Федорович Кони рассуждал, глазами насмешливо взблескивая, о нелогичности древней и патетической врачебной клятвы.

Обещание свято хранить вверяемую семейную тайну и не употреблять во зло оказанное доверие - как это неточно и неопределенно, говорил он, толкователь тончайший и въедливый.

— Посудите сами, достопочтенный Владимир Михайлович: а если вверяется тайна одинокого человека? Больной сифилисом, например, хочет жениться, а? Или если эту тайну обнаружил сам врач, оказывая помощь в несчастном случае? Да притом если эта тайна угрожает благополучию других, даже одного-единственного лица? А если врач осматривает военных, учащихся в разных заведениях, матросов на корабле? Для того ведь и призван, чтобы врачебную тайну огласить, если она опасна. Да и закон, обратите внимание, строго-настрого обязывает врача сообщать о заразной болезни, об убийстве или самоубийстве. Какая уж тут, простите, врачебная тайна, - согласитесь? «Употреблять во зло оказанное доверие» — это прекрасно и возвышенно, конечно, а если врач полагает, что не во зло — в добро употреблена может быть эта тайна? И вообще в факультетском обещании речь идет о том, в сущности, что врач не должен болтать знакомым и не давать повода для сплетен и порочащих слухов, но это не профессиональная обязанность, это естественный долг любого порядочного человека. А сколько врачебных тайн раскрываете вы, участвуя, например, в судебно-медицинской экспертизе!

— Безусловно,— охотно подтвердил Бехтерев. — Так что клятва эта устарела отчасти, и текст ее следовало бы переменить,— сказал Кони. И спросил с интересом:

— А вы об этом не думали, когда впервые, пришлось нарушить буквальность

врачебной клятвы?

— Не припомню, — сказал Бехтерев. — Честное слово, не припомню.

Наверное, даже не думал, значит, если не помню.

— Вот подлинный случай соблюдения клятвы, - сказал вдруг Кони, — да только это скорее просто врачебное и человеческое благородство, нежели следование букве обещания. Знаете, конечно, эту известную историю? Когда в сорок восьмом году в Париже было подавлено восстание мастеровых, правительство Наполеона III потребовало от хирурга Дюпюитрена список перевязанных им мятежников. Он отказался наотрез. Он сказал, что помогал не бунтовщикам, а страждущим. Красиво, неправда ли? <з> - Вспомнил! — воскликнул Бехтерев и остановился даже. - Лицо его помолодело и осветлилось.— Вспомнил. Так ведь чуть не сорок лет назад. Мне, знаете ли, стало вдруг известно, что деятели из священной дружины собираются убить Кропоткина. Сообщено мне было больным на приеме, так что тайна некоторым образом косвенная.

- Нет, отчего же, — быстро возразил Кони, — уж поверьте старому судейскому крючку: настоящая врачебная тайна. Употребление оказанного доверия. И как вы поступили?

— Сообщил, — просто сказал Бехтерев. — Знаете, сейчас припоминаю: терзался. Но тут подвернулся больной, назавтра что ли уезжающий как раз то ли в Париж, то ли в Женеву, не помню. И я ему поручил найти Кропоткина и предупредить. Кропоткина ведь тогда все знали после побега из Николаевского госпиталя. Он почему-то крайне опасным числился. Да, да, да сейчас очень ясно припоминаю: терзался именно в связи с нарушением клятвы.

— И его предупредили? — широко улыбаясь, спросил Кони.

— Вот уж не знаю, — ответил Бехтерев. — Не знаю. Больше я того больного не встречал.

— А интересно бы, — сказал Кони. И разговор их отвлекся на другое.

Прошло еще немного времени, и жизнь — драматург не из худших — вдруг опять напомнила Бехтереву полузабытую ту историю. Попутчик в вагоне поезда Петроград — Москва сказал ему с любопытством и почтением, что в соседнем купе едет в Москву Кропоткин. Бехтерев пошел знакомиться. Представляться не потребовалось ему.

— Я прекрасно знаю вас много лет! — экспансивно воскликнул Кропоткин.— Вы же спасли мне жизнь!

— А что, покушение действительно уже готовилось? — спросил Бехтерев.

— Не знаю, — сказал Кропоткин, — Присаживайтесь, пожалуйста, очень рад вас видеть. Но меня предупредил посланный вами человек, и я скрылся на время, опубликовав в газетах, что о готовящей злодействе знаю.

И они немедленно заговорили о совершенно другом, об одной идее, прочно и давно связывавшей их, - ниточка к ней прямо тянулась от тех

психологических пружин, что побудили некогда молодого врача впервые в жизни нарушить факультетскую клятву.

Кропоткин в самом начале века написал одну удивительную книгу: «Взаимопомощь в природе как фактор эволюции». Он утверждал, в развитие и дополнение дарвиновских идей, что «общежительность составляет такой же закон природы, как и взаимная борьба». На уровне человека, писал он, эта взаимопомощь, это чисто биологическое, по его уверению «сочувствие» реализуется благодаря множеству светлых черт, столь же органично входящих в характер человека, как и темные, и именуемых совестью, человечностью, чувством справедливости и всячески иначе, но главное — от природы присущих человеку. Кропоткин нашел для выражения своей убежденности в этой идее страстные слова: «Ни сокрушающие силы централизованного государства, ни учения взаимной ненависти и безжалостной борьбы, которые исходят, украшенные атрибутами науки, от услужливых философов и социологов, не могли вырвать с корнем чувства человеческой солидарности, глубоко коренящиеся в человеческом сознании и сердце, так как чувство это было воспитано всею нашею предыдущей эволюцией».

Кропоткин исходил из того, что не знающий снисхождения естественный отбор предъявлял ведь свои суровые требования не только к каждому отдельному живому созданию, но и к целым группам, сообществам, стаям, стадам и коллективам. И, таким образом, групповой отбор этот поощрял, в отличие от индивидуального, чисто этические что ли, нравственные, сочувственные и коллективистические проявления. И те стаи и стада, где преобладали существа, не наделенные склонностью к защите потомства, охране самок, взаимопомощи и взаимовыручке вообще, упирались в тупики эволюции, вымирали. Обладатели же противоположных свойств попадали в уже сквозной наследственный канал, завещая свои черты поведения потомкам.

Бехтерев был одним из первых психологов, горячо поддержавших и развивших небанальные идеи Кропоткина. Однако против чисто биологического подхода он возражал в своих статьях, а сейчас горячо заговорил об этом, неудобно примостившись на полке, уже занятой наполовину чьим-то широким фанерным чемоданом. Он говорил о том, что с появлением крупных человеческих сообществ начал действовать социальный отбор — нечто качественно иное и неустранимое в человеческом обществе. Социальный отбор, как и естественный, отчасти поощрял коллективистические черты, но столь же утверждал и противоположные: хищничество и властолюбие, жестокость и коварство.

Более того, эгоистическая напористость и неумная жажда главенства оказались как бы органично, естественно нужны тем, кто оказывался наверху



или еще только туда стремился. В пирамидально, разумеется, устроенных обществах, но иных покуда не было в истории человечества, сейчас вот вроде только собирается укрепиться и устояться иное. А потому — как отличить наследственность от благоприобретенных в обществе черт, равно как темных, так и светлых? Не от природы они так уж полностью, а в значительной части своей привиты обществом.

Кропоткин яростно защищал чисто природное происхождение всех до единой черт в психологии человека и загорячился. А Бехтерев между тем убедительный довод вспомнил и рассмотреть предложил тут же: вот, например, с юности человек реагирует гневом на несправедливость и насилие, стремится сам к контактности и человечности. А через некоторое время?

- Помните у Достоевского отличную фразу? О том, что из безоглядных правдоискателей и бунтарей такие деловые шельмы вдруг вырабатываются, что понимающие люди только языком на них в остолбенении пощелкивают. Помните? Ну-те-с, где же тут биология, а где общество сработали? А?

Кропоткин произнес взбудораженный монолог, что и тут, и там, — черты природные, а общество — только проявитель их, и что Бехтерев слишком социологизирует, чересчур на общество кивает, а природа основу уже слепила и слепые только могут отрицать это и спорить.

— Знал бы, что вы будете так меня оскорблять, - сказал усмешливо Бехтерев, — ни за что не предупредил бы вас тогда о готовящемся покушении. И этим исчерпывающе доказал бы свою правоту.

— Да, но тогда кому вы ее доказали бы? – живо возразил Кропоткин. И оба, примирительно рассмеявшись, разошлись по своим купе, донельзя довольные встречей, наплывшими воспоминаниями, друг другом и — не без основания — собой.

Где-то здесь в самом-самом конце семидесятых, и начинается, должно быть, научная биография Бехтерева. Потому что все силы человека, все его потенции и способности одушевляются и организуются целью. Честолюбивый, переполненный силами, с очевидностью талантливый, да еще одержимый идеей достаточно величественной, чтобы посвятить себя ей без остатка, Бехтерев вступает в жизнь.

И обнаруживает, что о самом мозге, об основе душевного и умственного бытия известно пока ничтожно, просто исчезающе мало.

Лаконичный латинский афоризм: «Строение темно, функции весьма темны» — исчерпывающе отражает ситуацию.

А время вокруг — лихорадочное и одержимое. Чем-то напоминающее эпоху великих географических открытий. Только не макро-, а микрооткрытиями гордятся и дорожат первопроходцы и описатели неведомой доселе планеты — мозга. Изучаются впадины, извилины, бугры, сочетания и связи нервных волокон, узлы и ядра, скопления нервных клеток, границы областей и образований.

И он тоже окунается в эту работу с головой.

Карты мозга, уточняясь и обрастая деталями, сохраняют поныне самые причудливые названия своих областей, островов и закоулков: роландова борозда, сильвиев водопровод, варолиев мост, зона Лиссауэра и десятки других наименований, в которых отражались то поэтическая склонность первопроходца, то дань имени первооткрывателя, то результат чисто внешнего, некогда поразившего анатома сходства. Морской конек, лира Давида, древо жизни, писчее перо, бледный шар, птичья шпора, главная олива, запятая Шульце, турецкое седло. Да и все остальные такие многотрудные (особенно для студентов) латинские названия оказываются в переводе вполне знакомыми словами, возникшими некогда у пионеров-первопроходцев из-за схожести или по ассоциации. На русском языке слова эти звучат уже куда проще: колено, горка, парус, петля, колонна, клюв, воронка, ограда, задвижка, бахрома, покрывало, крышка, червь, плащ, скорлупа.

В перечне названий много имен, и имя Бехтерева повторяется там ныне трижды — много ли можно насчитать первооткрывателей земель, чьи имена трижды повторяются на географической карте? Но открыл Бехтерев, детально описав, гораздо больше. Чудовищный хаос, разноречивой и неразбериха торжествовали до него на картах мозга. Древние карты планеты времен отцов географии Страбона или Гезиода, где люди с песьими головами жили всюду вокруг крохотной известной части, — вот что могло, пожалуй, сравниться с анатомическими знаниями о мозге того времени. И метод исследования был, почитай, единственным: из уплотненного в спирту мозга выделялись аккуратно, выщипывались, друг от друга отделяясь, отдельные волокна. Да еще окрашивали их кармином — сведений это приносило мало.

Только-только появились методы. И сыпались уже, как из рога изобилия, десятки работ, основанных на них. Бехтерев, пройдя конкурс на заграничную командировку, отправился к Флексигу, директору психиатрической колонии в Лейпциге, знаменитому в то время исследователю нервной системы, автору нескольких новых методов, чье железное правило: не пускать врача в клинику, пока две пары штанов не просидит за микроскопом, — пришлось нашему герою весьма по душе.

Флексиг писал впоследствии: «Здесь начал этот подлинно врожденный исследователь свой славный путь». И был неправ: начал Бехтерев еще в Петербурге. Он отправлялся в обучающий заграничный вояж, опубликовав уже более пятидесяти работ.

Учителя благословили его отзывами по начальству, без которых судьба его сложилась бы, наверно, иначе. Отзывы эти были превосходные.

Мержеевский: «Ознакомившись ближе с качествами ума и характера господина Бехтерева, я позволю себе засвидетельствовать о нем, как о весьма даровитом, трудолюбивом и скромном ученом, обещающе сделаться солидным невропатологом и прекрасным преподавателем».

Балинский писал свой отзыв чуть позже, по обстоятельствам, которые и мы изложим ниже, однако приведем здесь и его слова. Всего год отделяют начало путешествия молодого Бехтерева от времени, когда они были написаны. Эти двое пока еще не знакомы, но Балинский, читающий все, что публикуется сейчас по психиатрии и невропатологии (слово «неврология», сохранившееся поныне, введет Бехтерев), уже великолепно осведомлен о нем. Он пишет: «Плодовитость автора поразительна, он приходит быстро к выводам весьма смелым и решительным — быть может, со временем не все его заключения оправдаются, но во всяком случае он стал твердою ногою на почву анатомо-физиологическую — единственную, от которой следует ожидать дальнейшего успеха науки о нервных и душевных болезнях; он в состоянии самостоятельно работать в этом направлении, проверять труды других ученых и руководить работой своих учеников».

Условия путешествия великолепны: открытый подорожный лист с полной свободой выбора маршрутов и лабораторий, а насчет обязательств — раз в полгода надо только сообщать свой адрес для очередной высылки денег. Лучшего не сочинить — ни для лентяя, ни для одержимого. Бехтерев — одержимый в полном и лучшем смысле этого слова. Он уже знает, чего хочет, и только жаждет по полноте знаний вырваться на общий старт.

Великие географические открытия никогда не обходились жертв. На столах исследователей мозга тоже лилась кровь подопытных животных. Но тот, кто, содрогнувшись от жалости, осудит за это первопроходцев мозга, пусть пройдет как-нибудь ненароком мимо двора нейрохирургической клиники. В установленные часы там гуляет множество выздоравливающих больных. Из каждых десяти девять были бы обречены без тех давних исследований мозга. (Еще даже в начале нашего века семеро из десяти были бы обречены. Нейрохирургия набирает опыт.) Без живосечения вовсе не двинулась бы бактериология. Все важнейшие открытия в системе кровообращения целиком основаны на жертвах животного мира. Медицинской науки в ее сегодняшнем виде просто не существовало бы, и фантастическая взрослая и детская

смертность были бы тому следствием. Как раз в том восемьдесят третьем году, когда молодой доктор медицины Бехтерев (он уже защитил диссертацию) отправлялся на выучку за границу, правительство Пруссии запросило несколько медицинских факультетов, не может ли наука все-таки обойтись без опытов на животных. И какой-то физиолог прислал вместо ответа «Руководство к физиологии» - учебник, где были вычеркнуты все факты, непознаваемые без живосечения. Газеты, еще вчера поносившие ученых-мучителей, писали не без изумления, скрытого иронией, что присланная книга «вследствие таких отметок походила на русскую газету, прошедшую сквозь цензуру: зачеркнутых мест было больше, чем незачеркнутых».

Однако же надо сказать, что сами исследователи вовсе не разделяли, как не разделяют и сейчас, без сомнения, легкомысленно лихие строки о льющейся крови животных. Вот слова великого хирурга Пирогова, сказанные им в старости:

— «В молодости я был безжалостен к страданиям. Однажды, я помню, это равнодушие мое к мукам животных при вивисекции поразило меня самого так, что я, с ножом в руках, обратившись к ассистировавшему мне товарищу, невольно воскликнул:

- Ведь так, пожалуй, можно зарезать и человека!..

...В последние годы я ни за что бы не решился на те жестокие опыты над животными, которые я некогда производил так усердно и равнодушно».

Эта цитата взята не прямо из посмертного издания записок Пирогова, а из книги Вересаева «Записки врача». Потому что далее следуют точнейшие слова самого врача Вересаева:

«Все это так. Но как быть иначе, где выход? Отказаться от живосечения — это значит поставить на карту все будущее медицины, навеки обречь ее на неверный и бесплодный путь клинического наблюдения. Нужно ясно сознать все громадное значение вивисекции для науки, чтобы понять, что выход тут все-таки один...»

Мозг состоит из серого и белого вещества. Серое — это скопления нервных клеток. Они образуют так называемые ядра. У мозга их неисчислимое множество. Белое — это нервные волокна, идущие от клеток, соединяющие клетки друг с другом и со всеми внутренними органами, и с кожей, где великое число нервных окончаний воспринимает все сведения из внешнего мира. По волокнам идут сигналы от нервных клеток и по ним же приходят сигналы для обработки в самой клетке. Волокна эти образуют запутаннейшие канаты, сложнейшие переплетения, идут пучками и полосками, свиваются и неразличимо перекрещиваются друг с другом. Их миллиарды, мозг недаром

сложнейший в мире живой орган управления живым организмом. Но без знания его устройства невозможно понять его работу.

Что же за методы были в те годы у первопроходцев этих чудовищно запутанных микропространств? В своей книге «Проводящие пути головного и спинного мозга» (знаменитой на весь мир книге, а от Российской академии наук — золотая медаль) Бехтерев перечисляет их, и картина того, что делали исследователи во всем мире, дуэльно схватываясь в полемических статьях, встает во всей полноте.

За словами «метод сравнения последовательных срезов одного направления» — изнурительный многочасовой труд в течение длительного времени — дней, слагающихся в месяцы. Нож микротомы отсекает тончайший срез замороженного мозга, и срез этот, укрепленный на стеклышке, попадает под микроскоп для рассмотрения и зарисовки. Второй срез, пятый, трехсотый, и удастся проследить наверняка и до конца пути нескольких нервных волокон и связи нескольких клеток. Новое направление, тысячи новых срезов — кропотливый и терпеливый муравьиный труд. Около двадцати лет рабочий стол Бехтерева был завален стеклышками со срезами. Уезжая на новое место, он везде оставлял на старом многотысячную (!) коллекцию срезов. Последняя до сих пор хранится в его музее.

Нервные волокна окрашивались различными веществами, по-разному красящими волокна разных систем. Сравнивались отдельные области нервной системы у животных, имеющих специфические органы, для сложного управления которыми особо сильно развивались ведающие ими нервные образования (клешня рака или крылья птицы требуют развитого управления, и нервная система их приспособлена к нему явственно).

Сам Флексиг широко пользовался обнаруженным им фактом, что в процессе развития нервные волокна разных отделов в разное время одеваются мякотной оболочкой. Под микроскопом волокна нервного кабеля уже одетые своей оболочкой, легко отличались от еще голых, и тысячи зародышевых и младенческих мозгов животных приносились в жертву целям познания.

Живой организм, с первых дней своего существования поставленный в условия необычные, такие, например, что какой-либо орган или часть тела лишалась полноправного существования и деятельности, отвечал на это недоразвитием соответствующей части нервной системы. Часто сама природа дарила исследователям такой жестокий эксперимент, но они и нередко пользовались этим методом.

Мозг раздражали током, исследуя связи его областей с органами и частями тела; у живого мозга разрушали самые различные отделы, наблюдая, на каких отправлениях это скажется и какими явлениями проявится; перерезали нервные волокна, следя, что последует за этим; не упускали случая

досконально рассмотреть любую патологию или травму в ее влиянии на сам мозг и функции тела. Методы соединялись друг с другом, хитроумно комбинировались, открывались и описывались все новые и новые группы, скопления и связи клеток, возникали первые достоверные (по сию пору действующие) карты мозга.

Здесь просто необходимо сказать, что познание это, чисто анатомическое, чисто конструктивное, совершается до сих пор, продолжается и в наши дни. И Кассандрой не боясь прослыть, можно смело предсказать его бесконечность. Иные горизонты сегодня, исследователи уходят вглубь, уже на уровне единичной клетки — нейрона задаются мозгу вопросы, но и строение продолжают изучать. Споры не утихают до сих пор. И не о мелочах, не о тонкостях споры, а по множеству огромной важности тем.

А тогда, в те исторические для наук о мозге годы, был заложен лишь необходимейший фундамент, создана стартовая площадка, без которой немислимо любое продвижение вперед.

И целый слой этого фундамента выложен классическими работами Бехтерева. Две книги его «Проводящих путей» были переведены на несколько языков и получили всемирную известность, а находки его вошли составной частью в те атласы мозга, по которым до сих пор изучается во всем мире его устройство. И один из составителей этих атласов-руководств, сам потративший на них всю жизнь, немецкий профессор Копш произнес некогда фразу, сполна и без комментариев говорящую об успехе нашего героя: «Знают прекрасно устройство мозга только двое: Бог и Бехтерев».

Трижды повторенное одно и то же имя на картах мозга — напомним об этом факте — такая же дань коллег тому, кто оказался в лидерах благородной гонки того времени.

Уже этого одного было бы достаточно, чтобы имя Бехтерева не стерлось в истории познания мозга. Но как это мало по сравнению с тем, что он еще успел сделать. Мы обратимся снова сейчас ко времени его заграничного вояжа, ибо работал он в эти полтора года не только у Флексига, но и у нескольких других. В их лабораториях, клиниках и больницах. В частности, в знаменитом Сальпетриере.

Профессор Шарко не делал тайны из своего величия и в бессмертии имени своего не сомневался. Основания, впрочем, были, и веские.

Исключительно благодаря ему парижский госпиталь Сальпетриер стал Меккой невропатологов Европы. Они съезжались отовсюду поглядеть на истеричек — излюбленных больных мэтра Шарко. Это он выделил истерию как самостоятельную болезнь. Это он показал, что судороги истеричек разнятся от судорог больных эпилепсией (а до него они содержались в

Сальпетриере вместе). Он прозорливо заметил, что истерия — болезнь чисто психическая, что никаких повреждений нервной системы нету у больных истерией, что такова их больная психика. Он описал различные фазы приступов истерии, и врачи наблюдали его больных, различая вслед за ним судороги, окаменение в причудливом, порой клоунском положении, изогнутость дугой, когда только на голове и пятках, будто совершая сложное гимнастическое упражнение, неподвижно застывала больная, и фазу страстных поз, то мечтательных, то бесстыдно сексуальных. Это он назвал истерию «великой симулянткой» и показал, как стремительно и точно перенимают больные разные симптомы других болезней. Этим же он достоверно объяснил и распространяемость эпидемий бесоудержимости в средневековых монастырях — со всеми необъяснимо до сих пор однообразными обмороками, криками и судорожными подергиваниями, Объяснялись также многочисленные и разнообразные параличи, онемения то рук, то ног, неспособность нормально ходить при полной управляемости ногами и телом (она обнаруживалась, как только больная ложилась). Такие истерические параличи начинались часто от потрясения, от страха, горя или резкой неожиданности. То судорогами, то онемением отвечали истерички в его больнице на резкий и внезапный сильный удар гонга — такие демонстрации были нередки на его лекциях. Одна нервная болезнь была названа его именем, а сотни книг об истерии не мыслятся без имени Шарко.

Но он много сделал и в современном ему познании мозга, показав, в частности, что движение управляется центральными областями коры больших полушарий — самым верхним слоем нервных клеток.

Многочисленные ученики почтительно и любовно рассказывали новичкам истории о своем мэтре. Так, он был царственно ровен со всеми, и это благородное, высокое — я не оговорился — царственно демократическое чувство подлинного человеческого равенства вызывало к нему всеобщую любовь. Между больными, приходившими к нему на частный прием, он не делал никакого различия. И однажды какая-то заезжая княжна, не вынеся сидения в очереди, прислала к нему слугу напомнить, что княжна такая-то сидит (сидит, вместе со всеми ожидаючи!) в его приемной. Он промолчал, жестом отослав слугу. Через двадцать минут тот боязливо всунулся в дверь, властной рукой посланный к врачу вторично.

— Она, должно быть, иностранка! — в гневе вскричал, согласно рассказу, экспансивный мэтр Шарко. — Она не знает, наверно, что мы недавно брали Бастилию!

И очередь продолжала идти сложившимся чередом.

А истории с его благородством! Накануне избрания Шарко в Академию наук (он становился бессмертным уже благодаря избранию, так они и назывались:

бессмертные) вдруг появилась в какой-то мелкой газетенке ядовитая и мерзкая, полная намеков и скрытой клеветы статья. Ее организовали коллеги-завистники, у Шарко, как у всякого талантливого и яркого человека, было их великое множество. В академию профессор Шарко все равно был дружно избран. А спустя совсем немного времени был приглашен к больному, который, трудно приподнявшись при его появлении, глухо и твердо сказал, что считает нравственным своим долгом предупредить: это он автор той злобной заметки, о которой ныне сожалеет, но не может не сказать этого, чтобы у месье Шарко руки были вполне развязаны для выбора: оказывать или не оказывать помощь. Шарко, чуть бровями двинув, приступил к обстоятельной консультации, оказавшейся вполне целительной, что очень важно для рассказа. А закончив все советы и предписания, вежливо и наотрез отказался взять гонорар.

От своих ежедневных многочасовых занятий отдыхал он талантливо и великолепно: с карандашом и альбомом бродил и ездил по музеям, церквям и кладбищам. Рисовал стремительно и даровито. Сам расписывал фарфор и эмаль. Вместе с коллегой Рише выпустил два тома художественных иллюстраций, строго и тонко подобранных по главной и коронной теме всей его жизни. Один из томов — «Одержимые демоном в искусстве». Это картины исцеления Христом, апостолами и святыми бесоодержимых в древние времена. А второй — «Уродства и болезни в искусстве», где также множество сцен исцеления паралитиков и слепых. Ибо истерические слепота и онемения часто проходят от властного: «Будешь видеть!» или евангельского: «Встань и иди!», произнесенных кем-либо, в чей целительный авторитет больной верит безусловно и без тени сомнения. Шарко даже книгу написал об излечениях такого рода: «Исцеляющая вера», очень многое объяснив в историях подобного типа.

(Через несколько всего лет, когда начнут разрастаться и множиться легенды о великом враче Бехтерева, центральное место в них займет история, как молодой человек, уже несколько лет возимый в коляске, а по другой версии — трудно ходящий на костылях, после тщательного осмотра профессором вдруг услышит от него: «Вы можете ходить. Встаньте и идите!» — и встанет, и пойдет, к изумлению и восторгу служителей и родных, и больше никогда даже не вспомнит о недавней своей мучительной и долгой обездвиженности. Иногда это будет не молодой человек, а женщина с онемевшими руками или годы пролежавший чиновник. Истерические онемения, параличи и другие подобные Расстройства нервной системы научится Бехтерев распознавать стремительно и безошибочно, а его легендарный авторитет лишь будет способствовать в превеликой степени чудесам таких мгновенных исцелений.)

...А сейчас Шарко в огромном зале своей лаборатории разговаривал с молодым русским доктором, приехавшим из Петербурга поучиться и посмотреть. Доктор рассказывал, что он уже видел мэтра, когда тот три года



назад, в восемьдесят первом, кажется, приезжал в Россию по вызову какого-то высокого пациента, а русские психиатры, переполошившись от восторга и симпатии, устроили в честь Шарко огромный торжественный обед, где все до единого тосты провозглашались во здравие почитаемого коллеги. И он, Бехтерев, тоже был тогда на этом обеде.

Шарко любезно сказал, что помнит. После чего оба улыбнулись друг другу: Шарко — с вежливой приветливостью, а Бехтерев — против воли, очень уж показалась смешной эта доброжелательная неправда, что окруженный профессорами и всякими маститыми стариками месье Шарко, чуть оглушенный приемом, мог заметить молодого лекаря, с обожанием глядевшего на него с противоположного конца огромного стола в «Европейской».

Но это было все попутно, и Бехтерев перешел к делу. Шарко вежливо посерьезнел, слушая. Доктор Бехтерев приехал не прямо из Петербурга, он несколько месяцев просидел в клинике Флексига, проводя усердные анатомические разыскания. Не угодно ли будет господину профессору посмотреть привезенные срезы? Этой областью мозга, судя по выходящим статьям и поступающим слухам, занимаются как раз в лаборатории у месье, так вот не угодно ли? С большим интересом, ответил Шарко, и подозвал нескольких врачей.

Он и так хорошо отнесся бы к Бехтереву, мэтр Шарко. Он очень любил приезжающих из России. Да, да, именно и явственно их. Настолько, что врачи из его лаборатории шутливо утверждали даже, что фамилия Шарко во французском ее написании читается не случайно так же точно, как российский Харьков. Но русский практикант еще и привез изумительно изготовленные препараты срезов мозга. Выделки тончайшей, окраски безупречной, выбранного местоположения интереснейшего.

Благодарность Шарко была величественной: вместо того чтобы поручить практиканта одному из своих врачей, он лично показал ему интереснейшие явления гипноза на истеричных. В частности, повышенную мышечную возбудимость. Усыпив больную, он, еле-еле дотрагиваясь, проводил тонкой стеклянной палочкой позади ее уха, и ухо заметно оттягивалось назад, как у настораживающегося зверя. Проводил сверху, и ухо видимо шло наверх. А ведь ушные мышцы у человека атрофированы, от природы ослаблены за ненадобностью, а под гипнозом их активность заметно и сильно повышалась. Бехтерев глядел, не отрываясь, глазами восхищенными и пристальными, а в уме его вертелся вопрос, столь же уместный, сколько и приятный хозяину. Но хозяин опередил его.

- И после такого как могут они говорить, что гипнотический сон — простое внушение! — победоносно сказал он.

Они уже шли по двору в соседний корпус. Гуляющий старик-склеротик подошел к Шарко и в изысканных выражениях, как делал это уже несколько лет неукоснительно изо дня в день, попросил несколько су на табак, не забыв добавить, как всегда, что по смерти непременно завещает профессору свой спинной мозг. Шарко засмеялся и дал. Это была укоренившаяся и уже приятная потому деталь ежедневного ритуала его жизни. Теперь и об оппонентах он заговорил спокойней и превосходственней. «Они» — это были психиатры иной школы, сторонники профессора Бернгейма из Нанси.

Шарко утверждал, что гипноз — ненормальное и нездоровое состояние человеческого мозга, что это искусственно вызванный невроз, что не случайно у его больных истеричек так легок переход в гипнотический сон и что самая расположенность к гипнозу свидетельствует о нездоровье нервной системы. И о каком лечебном воздействии гипноза может идти речь, если после него бывают судороги, параличи, бред, из которых трудно и не сразу выводится нервный больной. А был случай, когда женщина впала в летаргический сон, и сутки, целые сутки ее не удавалось привести в сознание. Не целебное это, а невротическое опасное состояние.

— Нет! — возглашала школа профессора Бернгейма. — Ни в коем случае нет. Гипноз — это просто сон, вызванный внушением. И все, чего удастся добиться в гипнозе, — такое же следствие словесного внушения. А то, что гипнотизируют порой однообразные звуки: шум мельничного колеса, тиканье часов, периодическое мелькание света, — явление тоже объяснимое: такой монотонный раздражитель «прививает идею сна».

Много было доводов в полемике обеих сторон. Велась она в тонах экспрессивных и возбужденных. Благодаря высочайшему врачебному авторитету обоих к дискуссии присоединялось множество сторонних голосов. Как водится, самые преданные и убежденные пылко доводили идеи своей стороны до абсурда, искренне думая, что этим помогают им укрепиться. Так, один известный врач и автор медицинских трудов писал, что и самый наш ежедневный сон — не что иное, как продукт внушения, что человек спит в результате привитой ему идеи о ежедневном сне. Но тогда откуда эта «идея» возникает у грудных младенцев? У животных?

Но, с другой стороны, и сон этот, гипнотический сон, крайне необычен, и во многих проявлениях своих похож на поведение больных, например на сомнамбул, лунатичек, преспокойно ходящих по ночам и великолепно ориентирующихся, но не помнящих об этом наутро, ибо так же отключено их сознание, как бывает в глубокой фазе гипноза.

Время принесло поражение школе Шарко, сдвинув однако же, и школу Бернгейма с ее усердно охраняемых позиций. Было показано убедительно и

достоверно, что гипноз — действительно подобие сна, только видоизмененного, особого, разными способами вызываемого.

И если бы мэтр Шарко знал, что молодой русский приезжий Бехтерев примет сторону этих слепцов из Нанси и станет не только утверждать нормальность сноподобного состояния в гипнозе, но и его чрезвычайное целебное воздействие, он бы, верно, не был так приветлив. Однако же, с другой стороны, если бы он: знал, что в скором времени работы Бехтерева нанесут частично удар и по школе этих слепцов из Нанси, он бы удвоил, не исключено, свою величавую снисходительность.

Став на многие, многие годы крупнейшим в России мастером гипнотического воздействия и неустанным пропагандистом гипноза как лечебного метода, Бехтерев даже просто в силу огромного опыта своего, благодаря великому числу больных натыкался то и дело на явления, то с одной школы, то с другой, сбивающие ту крайность мнений, которая мешала выработке общего (и уже куда более близкого к истине) воззрения на гипноз.

Спустя несколько лет после короткого пребывания в Сальпетриере профессор Бехтерев читал в Обществе неврологов лекцию над очень интересной больной. исследование которой упоминалось впоследствии почти во всех его статьях по гипнозу. Лекция называлась длинно, описывая названием своим почти все страдания больной: «Сдавление поясничной части спинного мозга, осложненное припадками сомнамбулизма и ревматическим поражением суставов, с благоприятным лечением этих состояний гипнозом».

Тридцатилетняя больная происходила из наследственно, очевидно, нездоровой семьи: два ее брата покончили с собой, а одна из сестер сошла с ума. Во время какого-то семейного скандала саму больную столкнули с лестницы, вскоре после этого и начались у нее боли в поясничной части позвоночника. Было всякое последние годы: приступы судорог, бессонница, самые разные недомогания. А потом обнаружилось внезапно, что она часто ходит по ночам, ничего не помня наутро. Ходит подолгу, далеко, порой осмысленно. Так, однажды ходила в часовню больницы, где лежал некоторое время труп застрелившегося брата. Об этом, впрочем, она сохранила смутное воспоминание, только начисто забыла, что встречала неузнанных ею близких знакомых. А что бродила несколько ночей по саду, узнавала только по грязи на обуви и листьям, запутавшимся в волосах.

Между тем усиливались боли в пояснице, появилась непереносимая тоска, безотчетный неконкретный страх, всякие иные телесные недомогания. Теперь ее ночные бессознательные хождения обрели кошмарную цель: она искала способа покончить с жизнью.

В одну из ночей, встав очень быстро и целеустремленно, одевшись наскоро и кое-как, она отправилась к близлежащему озеру, довольно, впрочем, далеко от дома, где она жила. Направилась с целью точной, единственной и последней, но озябла по дороге невероятно, и оттого вернулась домой. Почему пальцы у нее отморожены, утром она вспомнить не могла.

А спустя некоторое время (наступило лето как раз) проснулась однажды с вывихнутым и сильно ушибленным большим пальцем правой руки. Откуда, почему, что это — она не знала. После выяснилось: ночью она пыталась опять покончить с собой, и, будучи в бессознательном состоянии, долго открывала — тщетно, к счастью, заброшенный и забитый старый колодец.

И наконец, однажды, уже в сентябре, холодном наредкость и ветреном в тот год, она проснулась одетой в насквозь сыром платье, догадалась, что опять бродила ночью, а к исходу дня опухли и остро заболели суставы, так что она двинуться и встать не могла, только стонала и плакала от боли. Накануне ночью она зашла совсем далеко за город, шла мимо какого-то леса и деревни, дул резкий ветер, светало уже, холодная ложилась роса, только поздно утром вернулась она обратно в город.

Но откуда известны стали маршруты ее ночных походов и детали поступков, совершаемых в бессознательном сомнамбулическом состоянии? Она ничего не вспоминала, проснувшись?

Ничего. Но все до мелочи вспоминала под гипнозом.

Много вообще интересного и дотоле не описанного в научной литературе наблюдалось у нее в этом состоянии. Например, она чрезвычайно мало помнила из своего детства и необычно слабо помнила дни свадьбы. Под гипнозом она вспомнила великое множество деталей, одну за другой. А спустя несколько дней после воспоминаний под гипнозом то же самое явственно и подробно приснилось ей, и она все рассказала, волнуясь, своему лечащему врачу: что за сон? что за свадьба? какое явственное чье-то детство! — наяву она по-прежнему не помнила ничего.

Лечению она поддавалась прекрасно. Под гипнотическим внушением прошли боли в пояснице и суставах, исправилась походка, исчезли страхи и тоска, и не было более покушений на самоубийство, сопутствующие телесные недомогания (многие и разные весьма) тоже были сняты как рукой.

Как должна была смотреть она на Бехтерева, вернувшего ей жизнь? Что должна была испытывать к нему? На лекции своей коллегам-врачам он демонстрировал, усыпляя ее, все феномены гипнотического воздействия: искусственные галлюцинации (она чувствовала от бумажки, объявленной цветком, запах того цветка, который называл ей Бехтерев, ясно видела свой портрет на чистом листе бумаги, искренне удивляясь, откуда он мог взяться);

так называемые отрицательные галлюцинации (с совершенно открытыми глазами она переставала видеть человека, с которым только что разговаривала, но о котором было сказано ей, что теперь его нет, стул при этом продолжая видеть ясно); отсроченное внушение (несколько недель назад ей было внушено хранить воображаемый цветок и подарить его в день заседания старейшему члену Общества неврологов — с милой неподдельной улыбкой она сделала это, уходя).

Во множестве книг, специальных и популярных, описаны сегодня эти воздействия. И тогда они острой новинкой не были, разве только детали. Но коллегам-врачам лекции Бехтерева об исцелении под гипнозом были тогда и полезны до чрезвычайности не только и не столько по богатству научного материала, а по совсем иным, куда более важным причинам.

Дело в том, что гипноз в России был в то время под подозрением. И сильно, очень сильно рисковал своей репутацией даже тот, кто по вполне установленным правилам изредка применял его, а уж тот, кто неустанно пропагандировал, шел на открытый риск. Впрочем, тут по порядку нужно.

С безобидного фокусника началось. Бехтерев тогда уже года три как врачом работал, и заезжего этого гипнотизера тоже видел, своим учителем Мержеевским прихваченный в один высокий чиновный дом. Заезжий гипнотизер Ганзен (европейская знаменитость, всемирный успех, гастролы всюду под аншлаг, чудесные превращения под магнетическим воздействием) за большие деньги давал сеансы в частных домах. В Петербурге он нарасхват, хотя плата за вечер составляла небольшое состояние. Медицинского образования чародей не имел никакого, и врачей этот факт слегка озлил. Сговорившись, они явились на сеанс (дом принадлежал лицу, близкому к медицине и отчасти ею руководившему с какого-то чиновничьего шестка) и вызвались быть подопытными. Ганзен, подвоха не подозревавший, принялся усыплять их, заставляя глядеть на стеклянный шарик, отчего простые смертные покорно и немедленно засыпали. Врачи тоже, лишь для вида посопротивлявшись, послушно смежили веки. А когда заезжий гипнотизер стал властно распорядиться заснувшими, собираясь показывать фокусы внушенных галлюцинаций, каменную неподвижность негнущихся, застывших в каталептическом оцепенении тел и прочие чудеса, врачи открыли глаза и дерзко, с уничижением засмеялись. Напрасно Ганзен пытался выправить положение демонстрацией полной податливости двух действительно уснувших подопытных: продолжать никто не пожелал. Из Петербурга его с позором выслали.

Сумей врачи предвидеть, чем обернется их молодецкая проверочная шутка, они бы отказались от нее. Но она уже была сыграна, а уроки извлекли чиновники от медицины. На всякий случай из соображений вполне гуманных они, в сущности, запретили гипноз совсем, ссылаясь при этом на прецеденты

вроде высылки оконфузившегося самоучки Ганзена. Так, в Женеве некоему гипнотизеру тоже были воспрещены публичные представления после того, как он приказал многим загипнотизированным явиться на завтра в полдень на многолюдную центральную площадь и «совершать там кривлянья и пантомимы, что и было исполнено». Слова произносились запретителями, веские, высокие и уничтожающие: надо запретить, ибо спящий «делается игрушкой в руках другого и совершает всевозможные пошлости по его приказанию». И еще: «Гипнотизм есть опыт, производимый над чужим человеком, причем у последнего искусственно суживают круг его высших умственных способностей». А что до тех, кто уверяет, будто во имя свободы исследования и познания гипноз для всеобщего показа нельзя запрещать, то вот и им достойный ответ: спящий «находится в рабском подчинении у гипнотизера, в подчинении значительно большем, чем бы этого желал: в гипнозе он выставляется на потеху толпы, смешит последнюю, галлюцинирует до неистовства, выполняет то смешные, то преступные внушения гипнотизера и так далее — что есть жертва в руках гипнотизера, которую врачи обязаны во имя свободы взять под свою защиту».

В этой демагогии еще был хоть какой-то, правда, весьма относительный смысл, но это все касалось публичных представлений гипноза, а как же с его лечебным применением? Выплескивая воду, кажущуюся мутной, ребенка в таких случаях тоже обычно не жалеют. Врачебное применение гипноза так же оказалось крайне стеснено. То есть не было оно запрещено совсем и прямо, нет, но было сделано ничуть не хуже. Поставили пользование этим методом в условия, во-первых, исключают его применение повсюду: обязательно было теперь, как на операциях, присутствие второго врача (где его возьмешь в селе, да и в городе не станешь звать специально); а во-вторых, самим отношением своим к методу этому делаая полунедозволенным, нежелательным и как бы чуть шарлатанским само пользование гипнозом. Второе было существенней даже: глухая атмосфера презрительной подозрительности холодной пеленой быстро окружила метод. Пользоваться им осмеливались считанные единицы врачей.

Бехтереву, как только он приступил к самостоятельному врачеванию после возвращения из командировки, как только принялся за гипноз, используя его охотно и много, не замедлили влиятельные коллеги объяснить мягко, но вразумительно, что он проявляет горячность необдуманную и рвение не к тому, что следует, ибо что начальство не очень одобряет, то и рвеня, как известно, не заслуживает. Мягко говоря, не заслуживает. Понимай, как знаешь, но правильно. Потому — в твоих же интересах.

Бехтерев пожал плечами и продолжал. Многого оно стоит, между прочим, пожимание плечами, продолжая. Без кипения, без споров, без возмущенных разговоров под чайком. «В многословии нет спасения» — справедливо утверждает одна из древнейших мудростей. Спасение — в деле. Только

делом допустимо и благостно утвердить, отстоять и прославить свою веру во что угодно.

Делом он и принялся заниматься. Формальность соблюдал неукоснительно: всегда присутствовал второй врач. Во всяком случае всегда из преданных коллег кто-то знал: он сегодня с Бехтеревым на гипнозе. И спокойно занимался собственными делами. Их у всех хватало с головой.

Появлялись статьи, вылечивались больные, обучались ученики, читались лекции. А то официальное полуизгнание гипноза из врачебной практики и полугласное его осуждение продолжалось, полузапрет оставался незыблемым. До тех пор, пока съезду врачей не была подана петиция какого-то доктора, наказанного за преступление буквы высокого указа: лечил больного внушением не озаботившись хотя бы мнимым присутствием коллеги. Съезд передал вопрос на рассмотрение нескольким местным психиатрическим обществам. Но уж что-что, а здесь почва была щедро и глубоко вспахана и уготована Бехтеревым. Коллеги единодушно и скоро отозвались: идиотское, отжившее, вредное установление. А докладчик перед Медицинским советом – кто мог явиться авторитетней докладчика, обобщающего проблему, нежели профессор Бехтерев? Так что ему в значительной мере и обязаны были десятки тысяч больных, начавших с тех пор по всей России получать беспрепятственно врачебную помощь по одному из удивительно действенных методов.

Коллективную психотерапию алкоголиков под гипнозом ввел в России тоже он, и до сих пор применяется — с небольшими изменениями — методика, разработанная и многократно использованная им. Сохранились уникальные кинокадры: Бехтерев гипнотизирует огромную аудиторию из специально собранных больных. Потом обходит каждого, проверяя глубину сна, и начинает говорить о вреде алкоголя — слова его тем вернее западали в душу и разум, чем глубже спал человек и чем сильнее было его желание излечиться. Многим, очень многим это спасло жизнь, и свой последний доклад — за тридцать два часа всего до внезапной смерти — делал семидесятилетний Бехтерев как раз о коллективной психотерапии под гипнозом.

Еще будучи в заграничном вояже получил Бехтерев официальное письмо с предложением срочно подать заявление на вакантную по смерти предшественника кафедру психиатрии в Казанском университете. Он еще не знал, что уже обращались высокие чиновники за советом о подходящей кандидатуре к его учителю Мержеевскому, и тот Бехтерева назвал немедля как самого соответствующего. Заявление он послал, а скоро, совсем скоро получил уведомление, что на кафедру эту назначен и утвержден.

И тут начались терзания. Как ни соблазнительно была неожиданно профессура (да еще чуть пугало, что незаслуженная), а жаль было расставаться с лабораторией, в которой тогда работал. А еще сколько повидать предстояло! И после трехдневного раздумья сел Бехтерев и написал в Россию нарочито-обдуманно нагловатое письмо: что согласен занять кафедру в Казанском университете только в случае, если кафедре добавят еще должность ассистента; если помогут в открытии психологической лаборатории; если позволят до конца отбыть срок заграничной командировки; если финансируют строительство больницы, без которой — базы для демонстрационного материала к лекциям — преподавание не будет впрок. Обсудил и подправил письмо с друзьями, посмеялись вместе над его напыщенной претенциозностью (ослом ведь сочтут кромешным, да наплевать на это), и уселся снова за микроскоп, весело ожидая уничтожающего отказа министерства народного просвещения. Ладно, сыщется, глядишь, и потом какая-никакая должность, а вот упущенное в достижениях преуспевших (раньше начавших и умудренных возрастом к тому же) коллег — не воротишь никакими усилиями.

Вскоре пришел ответ. Министерство почти на все условия, поставленные профессором Бехтеревым, согласилось с полной готовностью. Видимо, здорово убедительны были слова Мержеевского и тот письменный отзыв Балинского, что уже приводился выше, да и сами почти шесть десятков статей двадцатилетнего профессора. Только в отношении новой клиники ответ был уклончив: покуда Бехтерев назначался консультантом Окружной психиатрической больницы Всех скорбящих с правом возить туда студентов. Продолжение заграничной командировки одобрялось безусловно и полностью.

Тут нам уместно вспомнить, что он уже в это время не один ездил, а с женой, недавно приехавшей к нему из Вятки. Дочь того квартиранта, у которого застенчивый гимназист брал первые свои уроки гражданственности, стала его женой. Пятеро детей нисколько не мешали Наталье Петровне всю свою жизнь безраздельно посвящать мужу, даже во время обеда и ужина (последний далеко за полночь) неизменно смотревшему на нее из-за корректуры очередной статьи или книги.

Самым плодотворным, пожалуй, периодом в жизни Бехтерева оказались эти почти десять лет, проведенные им в Казани. Какая бы проблема ни подвращивалась впоследствии его ученикам, с какой заковыкой ни обращались они к нему, неизменно следовало добродушное: «Я в бытность свою в Казани этим занимался, помнится. И еще французские тогда же были статьи, и немецкие. Авторов запишите, пожалуйста, а по годам легко найдете». Если же в ответ на вопрос не эти говорились слова, то другие, оптимистичные и поднимающие: «Этим я, батенька, даже в Казани не занимался. И статей об этом покуда нет ничьих, до сих пор нету, я вам



просто гарантирую отсутствие. Очень вам повезло: сядьте и напишите сами всю литературу».

В жизни каждого бывает своя Казань. Счастье, если приходит блаженное время реализации своих возможностей в период расцвета этих возможностей, а не на краю упадка или до того, как подготовлен к нему в полной мере. Бехтереву повезло. Оттого он и успел так много. В Казани он продолжал опровергать первую половину бессильной древней констатации, там же он взялся и за вторую. «Строение темно, функции весьма темны» — как, должно быть, сладко схватиться с вековечной скалой этой, ощущая в себе силу для одоления. Где-то далеко, далеко маячила теперь чуть потускневшая за оцененным здраво расстоянием обозначенная Сикорским цель: человек во всей целокупности. Впрочем, он уверен был, что доберется. А куда — ежедневно до трех ночи. Коллеги по университету очень недолго считали его карьеристом, очень недолго держали за свихнувшегося, очень недолго обсуждали, сходясь за вечерним чаем или в коридорах сойдясь, после чего установилось единогласное: настоящий и роет всерьез. Интересно, до чего дороеется...

Всегда приятно отмечать в биографиях случайные совпадения во времени вовсе не относящихся друг к другу событий: на расстоянии это кажется символическим. Так, в год рождения Бехтерева открылась первая в России кафедра психиатрии — Балинский зачинал психиатрию как самостоятельную науку впервые в истории врачевания душевных болезней русскими медиками разных специальностей. А еще в год его рождения напечатана была первая русская работа - «Заметки о тончайшем строении черепного и спинного мозга». Совпадения эти уместно вспомнить, чтобы стало выпукло видно, как все еще только-только начиналось и разворачивалось в России и как вовремя он родился на свет. Ему не приходилось сожалеть, подобно тысячам подростков-гимназистов, что уже открыта Америка и не осталось на карте белых пятен, — волею судьбы он оказался в самом водовороте великих географических открытий до сих пор непознанной планеты. Несмотря на то, что в Европе успели в этом больше, начав куда ранее и интенсивней.

Четыре года ему было, бегал по двору несмысленным, когда узкий до невозможности (десятка три человек) кружок, Общество антропологов в Париже, потряс доклад анатома Брока. Для наук о мозге (только в наше время чрезвычайно разветвившихся) доклад этот знаменовал собой освобождение от вековечной убежденности, что мозг никакого отношения к психике не имеет (с одной стороны), и от вульгарной, предельно механистической (прошломu веку вообще очень свойственной) идеи, что все психические способности, наоборот, просто и прямо управляются сугубо специальными отделами мозга (по Галлю — шишками).

Врач Брока несколько лет наблюдал больного, страдавшего потерей речи. Все понимал этот больной, все слышал, видел, полностью нормален был во всех своих проявлениях — и ничего не в силах был произнести. Умер он утром в день того достопамятного заседания, а уже вечером врач Брока с торжеством демонстрировал его препарированный мозг со значительным болезненным размягчением в области, получившей потом имя открывателя. А спустя некоторое время поступил подобный же пациент, и снова патология оказалась там же. Так был открыт речевой центр, и это было началом потока открытий, связанных с функциями разных отделов мозга.

Спустя почти десять лет два военных врача прусской армии Фрич и Гитциг, наблюдая раненых с черепно-мозговыми повреждениями после сражения под Седаном, решили, как только наступит мирное время, попытаться искусственным электрическим раздражением воздействовать на живой мозг. Эта перспективная и несколько дьявольская идея (так назвал ее много лет спустя один их последователь) была осуществлена ими на собаках. В коре головного мозга они обнаружили двигательные области — отделы, ведающие движением конечностей. Появился метод, что уже само по себе полдела. Исследования множились в десятках лабораторий, придирчиво перепроверялись, открытия чисто анатомического толка немедленно влекли за собой поиск функции описанного отдела или извилины. Началось бурное преодоление второй части бессильной древней констатации: «Строение темно, функции весьма темны». В общий штурм этот в начале восьмидесятых годов активно включился молодой русский физиолог Бехтерев. До него в России была сделана лишь одна работа такого толка, а после нескольких его публикаций оказалось немислимым весги любой спор о функциях почти любой области мозга без ссылок — в подтверждение или возражение — на его обширные и обстоятельные эксперименты. Проводимые с размахом и со скоростью необыкновенной, ибо недаром ежедневно до трех утра горел свет в его лаборатории.

Ниже — в кратчайшем беглом перечислении — то, что он успел сделать, начав, еще когда готовил диссертацию, — с влияния коры головного мозга на тепловую регуляцию в живом организме.

Он первым показал широчайшее влияние коры и других центральных областей мозга на кровяное давление и деятельность сердца. В его лаборатории добивались повышения и понижения давления крови, воздействуя на разные борозды, извилины и бугры. Кровоснабжение тела оказывалось тесно зависимым, строго подчиненным управляющим сигналом мозга.

Показано было влияние мозга на движение желудка и кишок, на сокращение мочевого пузыря и на работу почек.

Вся работа печени и желчеотделение оказались в строгом подчинении мозгу. Давным-давно известны были врачам случаи желтухи от испуга, психического потрясения, длительной боли. Теперь описанные наблюдения эти вписывались в четкую и ясную картину согласования и связи, становился очевиден механизм многих клинических явлений.

Мозг влиял на работу поджелудочной железы. Исследователи добивались ее принудительной работы, раздражая кору в области сигмовидной извилины.

Влияние психических факторов на слезы было человечеству всегда, явственно было и очевидно. Но по каким путям совершалось влияние? Бехтерев показал эти пути.

Глотание и дыхание, выделение слюны, пота и молока, многочисленные и разнообразные двигательные функции живого тела, половые отправления, вкус и слух — не перечислить множество функций, механизм которых в связях его с мозгом вскрывался и становился очевиден. Десятки и сотни тончайших экспериментов стояли за каждым выясненным фактом. Опыты шли на собаках и кошках, кроликах и ягнятах, а результаты непременно обсуждались с врачами, лечившими многообразные мозговые травмы и заболевания. Здоровый человек не задумывается над своим устройством, воспринимая все возможности свои как благостную, но естественную данность, а между тем даже способность сохранять равновесие и ориентироваться в пространстве — сложные и сокровенные деяния мозга, обусловленные гармонической и тончайшей сыгранностью сразу нескольких его отделов и областей. Публикуя работу об участии органов равновесия в наших представлениях о пространстве и ориентации в нем, Бехтерев оказывался предшественником исследователей, которые более полувека спустя занялись тем же самым под флагом самоновейшей кибернетики.

Попутно вскрывалась фантастическая пластичность нервной системы, гибкая и стремительная способность этого управляющего аппарата к перестройке и замещению выпавших функций. Когда, опять-таки полувеком позже, исследователи во многих лабораториях занимаясь изучением перестроечных, приспособительных, компенсаторных механизмов мозга, снова посыпались удивленные ссылки на факты, установленные Бехтеревым, и на его провидческие мысли. Повторяясь и не избегая повтора, снова и снова цитировали, например, вот какую его точную идею, непостижимо очевидную для него задолго до опытного установления ее досто-верности: «Не только возможно, но даже вероятно, что одна и та же область коры в зависимости от разносторонних связей с периферией тела может служить одновременно для различных функций».

Никак не входит в авторские намерения попытка пересказать и перечислить полностью, что успел наш герой именно в этой области своих интересов.

Хотелось только напомнить поубедительней и покороче, что в любой науке совершенно хрестоматийные ныне школьно-азбучные сведения некогда мучительно трудно добывались. И одним из таких естественно забываемых пионеров в науках о мозге был Бехтерев.

В начале девятисотых годов, спустя десять лет после «Проводящих путей головного и спинного мозга», начал выходить его авторский семитомник «Основ учения о функциях мозга» — уникальная, единственная не в России, а в мире энциклопедия всего, что узнал человек к тому времени о мозге. Ее сразу же начали переводить на несколько языков, справедливо объявили настольной книгой каждого натуралиста, а Бехтерева один из коллег назвал Нестором мировой неврологии. Однако мифический старец Нестор, мудрый советчик, к которому прибегали ахейцы со всеми вопросами и проблемами, этот воспетый Гомером всезнающий и всепонимающий мудрец, если разобраться попристальней, был упомянут всуе. Ибо семитомник Бехтерева, кроме исчерпывающих сведений о мозге (уровня той поры, разумеется), содержал еще превеликое множество неназойливо и ненавязчиво приведенных идей и мыслей, куда и как двигаться дальше. Это было скорее подробное напутствие, чем монография сведенных воедино знаний. После каждого почти раздела в каждой из семи книг следовала главка под названием «Наши исследования» или «Данные нашей лаборатории», или просто «Наше мнение» и непременно приводились в такой главке опыты и предположения, побуждающие, стимулирующие новый поиск и новый эксперимент. Очень много предвидений и точных догадок содержал этот удивительный труд, и очень, очень много ошибок и поспешностей, которые вполне всерьез, безо всякой тени иронии по-другому не назовешь как творческими.

Будущее подтвердило одно, опровергло другое — сполна, словом, воспользовалось книгой. Забавная трагедия постигла эту выдающуюся работу Бехтерева. (По прошествии времени многие трагедии выглядят в пересказе забавно.) Последователи первопроходца забывали сплошь и рядом воздать ему должное, продвинувшись — вслед за ним! — глубже и основательней. А порой — и того хуже.

Был, говорят, однажды превеселый случай со сказкой Ершова «Конек-горбунок». Какому-то купцу так понравилась эта сказка, привела она его в такой восторг, что он ничего лучшего не смог придумать, как издать ее под своим именем. Просто и чистосердечно взял, да и заказал в типографии. Прелестный этот психолого-библиографический казус невольно приходит в голову в связи с участием ряда бехтеревских идей и гипотез о функциях разных областей мозга. Но история науки и время — безжалостные и бесцеремонные реставраторы истины и справедливости, так что ныне это уже только забавно.

Всевластное и всеведущее участие мозга во всей жизни живого организма впервые предстало исследователям в исчерпывающей и впечатляющей полноте. Это было документальным, надежным и основательным фундаментом тех идей, что под названием «нервизма» отстаивались в те годы думающими исследователями и врачами во всем мире. Это была, кроме того, стартовая площадка всего, что достигли в изучении мозга и нервной системы последующие поколения их коллег.

Бехтерев и употребил впервые это слово — «неврология», чтобы обозначить им весь круг наук о нервной системе, изучать которую будут еще века и века.

И основал первый в России специальный журнал. Так он и назывался, этот журнал: «Неврологический вестник».

И наступила для него заветная, долго ожидавшаяся пора: вплотную приступить к человеку.

Он им, собственно, давно уже занимался в качестве лечащего врача, в качестве клинициста-психиатра и невропатолога. Он хотел пройти структуру и функцию мозга, чтобы исследовать здоровую личность, поискать вернее подступы к возможностям ее исследовать, но на всех — без исключения на всех — своих путях натыкался (был врачом!) на патологию, и это нам тоже никак невозможно обойти.

Мир психопатологии, жизнь скорбных духом — это особая вселенная искаженных (порой причудливо и изощренно) человеческих характеров, мыслей, проявлений, самого видения и восприятия всего окружающего. Бехтерев еще со студенческой скамьи всецело посвятив себя психиатрии, пятьдесят лет участвовал в коллективных стараниях проложить маршруты и вехи понимания в этом непознанном, страшном в своем разнообразии мире вывихов чувства и рассудка. Как и многочисленные коллеги, собирал он факты и наблюдения, то делая попытки свести их в систему, то довольствуясь описанием, так как само бесконечное разнообразие симптомов и проявлений требовало запечатления, чтобы осмысливаться постепенно и в совокупности. Ибо, немыслимо сложен мир поврежденной психики — мир, который ни для кого, кроме больного, не существует в такой жуткой реальности.

Вот человек стоит посреди палаты и, не отвечая на вопросы, даже не замечая, впрочем, спрашивающих, размахивает руками, пытаясь поймать что-то невидимое. Но он-то видит! Ясно и с несомненностью. С потолка на него непрерывным потоком падают живые цветы. Они стекают откуда-то сверху, радуют глаза расцветкой, легкими касаниями щекочат руки и грудой скапливаются на полу, неуследимо исчезая куда-то. Часть из них человек ловит, прижимает к груди, утыкается в них лицом, нюхает. И ощущает, ощущает аромат.

Другой ищет жуков в складках больничного одеяния. Только что он заметил их (штук двадцать, быстрые, черные), ощутил всей кожей щекочущие движения лапок, но вот они попрятались и никак не найти. А поперек комнаты висит густая паутина, и серые толстые нити ее чуть колеблются под дуновением ветра из раскрытой форточки.

По стене косыми зигзагами зловеще зазмеилась трещина, и в страхе перед обвалом больной стонет, забившись в угол. Другой пытается достать изо рта почему-то застрявшие в зубах зеленые травинки (откуда они? на дворе зима!), а травинки мешают, раздражают, становятся главной помехой спокойного существования.

Одна из статей Бехтерева называется «Одержимость гадами». В ней описано несколько случаев сходного бреда на основе болезненных и страшных ощущений внутри тела и галлюцинации: шипения и кваканья, исходящих также изнутри. Больные рассказывали единообразно одну и ту же историю: во время сна внутрь их заползла змея или проскользнула лягушка. Теперь змея гложет внутренности, присутствие ее доводит до отчаяния, и ничего не удается поделать. Легко представить себе кошмар такого существования.

А вот прямо из больничной стены женщине непрерывно слышатся голоса. Они угрожают, издеваются, смеются. Они обсуждают предыдущую жизнь больной, осуждают ее, обещают, что еще придет расплата. Больная бессильно стучит в стену кулаками, плачет, умоляет, чтобы ее хоть на минуту оставили в покое. А в соседней палате больной сидит и без устали монотонно кричит. На вопрос «зачем?» отвечает, что должен кричать - так велел голос.

Галлюцинации — многовековая загадка психики. Они так достоверны для больного, столь реальны и явственны, что им нельзя не верить. В первый год своей работы Бехтерев, истово повторяя усилия всех предыдущих поколений своих коллег, часто делал бесполезные попытки как-то разуверить больного в наличии призраков. Пока не убедился: невозможно. Расстроенный мозг и окраинные заставы его — органы чувств фантазируют и лжесвидетельствуют убедительно и неоспоримо.

Невыносимо тяжела жизнь людей, общающихся с призраками: все внимание, все время, самое существование их подчинено то равнодушному восприятию галлюцинаций безобидных (иногда приятных даже), то гнетущим и безысходным мукам страха и тоски от галлюцинаций угрожающих и черных.

Особенно при искажении ощущений, которые мы обычно не замечаем, пока все находится в порядке и совершается естественно. Чувство нормального, например, положения тела в пространстве (а мозг непрерывно анализирует наше положение в пространстве, и Бехтерев описывал как раз одним из первых, как это делается в нервной системе) — оно ведь не отягощает наше

сознание, так же как чувство равновесия, прочности и незыблемости окружающего, наличия рук, ног, туловища и головы.

А больные в страхе кричат — на них, раскачиваясь, рушатся потолки и стены. Наклоняется и падает в пропасть кровать, предметы то стремительно удаляются и становятся маленькими до исчезновения, то угрожающе вырастают и надвигаются. Маятник от часов качается через всю комнату, тело становится невесомым, поднимается и переворачивается в воздухе, вещи и дома движутся, колеблются, прихотливо и неожиданно меняют очертания и расположение. Ноги тонут то в густом клее, то в вязком песке. Нарушается так называемая схема тела — ощущение наличия и соразмерности его частей. Увеличивается и занимает всю комнату нога, пропадает рука или появляется третья рука, то постоянно заложенная за спину, то упорно мешающая второй, голова проваливается в туловище, возникает чувство, что внутри пустота, нет желудка, скелета, сердца.

Бехтерев описывал несколько больных: у одного было непрерывное и неудобное ощущение согнутой ноги — не помогала даже возможность зрительно убедиться, что нога совершенно выпрямлена; второго мучило непрерывное суетное движение левой руки, на самом деле давно парализованной и неподвижной. Третьего больного, описанного в той же статье, мучило неестественное наличие двух рук слева, шести ног и трех голов — притом каждая могла двигаться самостоятельно. Бехтерев выдвигал первые по своему времени гипотезы — первые идеи о характере и месте поражения, вызывающего такие иллюзии и галлюцинации в виде мнимых членов тела и неуправляемых движений.

Но это — сложные галлюцинации, куда более редкие, чем простые: крики, шумы, искры, цветные пятна, запахи, ощущения по коже.

Особенно часты голоса. Громкие и тихие, угрожающие и дружеские (порою одновременно при том) знакомые и незнакомые. Большей частью — удивительно устроен человек! — это угрозы, брань, обвинения и упреки. Голоса звучат от стен, от печей и стекол, из подушки или водопроводных труб. А зачастую изнутри - из живота или прямо в голове.

Во время лекции молодого профессора Бехтерева аудитория университета всегда была переполнена. И не только оттого, что читал он с заметным увлечением, сам зажигаясь и выкладывая широчайшие сведения по каждой теме, но и потому еще, что всегда демонстрировал больных с интереснейшими проявлениями.

Сейчас он стоял и, чуть пощипывая недавнюю свою бороду почтительно беседовал с больным, средних лет худым человеком среднечинового вида и поведения.

- Болен я мышлением, — охотно начал рассказывать больной на предложение изложить характер своего недомогания. — Во мне находится какое-то существо и не дает мне покоя голосовым звуком. Все время слышу от него ясный человеческий разговор в левое ухо. Существо это очень плохое и безнравственное. У него постоянные ложь и обман и непрерывные скверные ругательства.

Бехтерев задавал вопросы, и ясная клиническая картина бреда вставала перед слушателями в форме, уже очищенной от словоохотливых наслоений больного. Непостижимое отчуждение собственных мыслей порождало его странный бред о существе, живущем в нем самостоятельной жизнью. Больной развертывал книгу или газету, а ясный внутренний голос громко читал ее ему. Голос прочитывал все вывески, мимо которых проходил больной. Этот мужской голос, то тонкий, то поглубже и сипловатый, вслух говорил ему все его мысли, будто подсказывая их. Голос громко называл в левое ухо всех знакомых, издали замечаемых больным, притом порою чуть раньше, чем больной осознавал, что видит знакомое лицо. Голос описывал словами все, что больному видел вокруг. И вступал с ним в спор, побуждая делать то одно, то другое, порой вопреки собственным желаниям больного.

- Жизнь моя мучительна и безотраднa, — с достоинством проговорил этот несчастный, — и если я берегу ее до сего времени, то только лишь из покорности провидению и в надежде, что явление это разъяснится на пользу других медицинской практикой. Есть ведь что-то в человеке, что еще не объяснили ученые.

Профессор поблагодарил его за помощь и, отпустив, продолжал объяснения. Увы, больному ничем не удавалось пока помочь. Лекарства (применявшиеся в то время почти вслепую, заимствованные большей частью из общей терапии) не помогали, внушение под гипнозом не действовало. Оставались попытки слабых успокоительных средств, надежда на время и покой, отвлечение, усилия разубедить. И тщательное, скрупулезное описание всего, что совершалось с больным. Чтобы потом этот симптом был известен, послужил другим, лёг в гигантский общий архив, требующий до сих пор системы, обобщения, вскрытия механизмов и пружин.

Бехтерев оставил много таких наблюдений и описаний. Навязчивые страхи (боязнь пространства, боязнь покраснеть, боязнь чужого взгляда, боязнь выхода на люди), навязчивые болезненные ощущения по всему телу при полном отсутствии какого-либо заболевания, (бред гипнотического воздействия («гипнотического очарования»)) находили себе в статьях его подробнейшее описание с идеями о характере мозгового расстройства, влекущего за собой такие явления психики, с предложениями лекарственного или иного воздействия, с четким изложением результатов. Какой же след



оставляло все это в науке, еще не совсем и по сию пору ставшей наукой, меняющей непрерывно и усиленно свои методы, идеи и подходы?

Интересную связь можно увидеть, приглядевшись (и ответ в этой связи усмотреть), между одной лекцией Бехтерева и докладом его ученика на юбилейной конференции в столетнюю память Бехтерева.

Юбилейные доклады — сомнительный, конечно, источник сведений. Все восхваления слишком напоминают безудержный тон некрологов, и толком не разобрать, что из говоримого — воздаяние должного, а что — отдание чести уважаемому покойнику. Однако же этот доклад в юбилейном букете посмертных лавров удивительно был несозвучен остальным и, как это часто бывает, случайно оказался на моем столе рядом с клинической лекцией Бехтерева на ту же тему. Явственная нить тянулась от этой давней лекции Бехтерева для студентов Высших медицинских курсов к выступлению ученика спустя более полувека. Но сперва, конечно, о лекции.

Больной говорит громко и оживленно, резко жестикулирует, легко уклоняется от расспросов, перескакивает с темы на тему. Лицо его часто меняет окраску и выражение, мимика возбужденная и азартная. На вопрос о самочувствии он отвечает с радостной готовностью: великолепное самочувствие, лучше просто не бывает, никогда такого не было, совершенно здоров, благодарствуйте, полон сил и планов. Он в восторге от клиники, от соседей, от врачей и сиделок, ему не терпится написать об этом во все газеты, пока он желает немедленно прочесть студентам заготовленную уже заранее заметку. Немедленно отвлекаясь, он начинает говорить о своем разностороннем образовании, о художественных и технических способностях, о невероятных своих возможностях облагодетельствовать целый мир вообще и эту аудиторию в частности. Речь его быстрая, округлая, много мелочей и отступлений, то и дело мысль срывается в сторону. Вот уже он говорит о своей представительной наружности, о своих многочисленных победах и о том, как повсюду восхищены им и очарованы. Кроме того, он - автор множества проектов, сулящих ему невероятное богатство, а народам — благоденствие и процветание. Один из проектов — «проект центробежных маршрутов» — навсегда избавит всех от неудобств и тягот езды по дорогам. В чем он состоит, остается неизвестным, ибо незамедлительно излагается другой, связанный с поразительным умением больного массировать животы. Выйдя, больной собирается заняться медицинским массажем, благо давно обладает врачебными знаниями.

Он совсем не всегда такой, этот бывший служака из корпуса жандармов. Всего год назад он был в состоянии крайней подавленности, мучился от страха, тоски, бессонницы. Пытался покончить с собой, был доставлен в больницу, а здесь несколько месяцев угнетенности (с массой самых черных бредовых идей) сменились вот такой приподнятостью.

Макально-депрессивный психоз. Только-только установлено в психиатрии, что маниакальная возбужденность и мрачная угнетенность меланхолии — два крайних проявления одного болезненного процесса. А может проявляться только одно из крайних состояний. Бехтерев рассказывает об этом студенткам, описывает симптомы, излагает идеи о происхождении болезни и путях воздействия на нее. О том же самом — несколько его статей. Наблюдения, гипотезы, планы.

Прошло пятьдесят лет. И вот — традиционная ситуация: доклад пожилого уже профессора — ученика (спустя год всего он умер сам) на юбилейном академическом заседании памяти учителя. Торжествовала, однако, вопреки установившемуся стандарту, подлинно научная связь времен: ученик опровергал и отвергал большинство гипотез учителя, показывал на обширном и доказательном материале, где и в чем тот был неправ и заблуждался. Может быть, простая человеческая неблагодарность? Мало ли в истории науки известно таких черных примеров? Нет, совсем нет! Он закончил свой доклад словами убежденности в том, что изучение маниакально-депрессивного психоза находится на верном пути, а стало быть, «можно надеяться, завершится результатами, достойными нашего великого учителя».

Достойными и противоположными его собственным идеям? Конечно. Ибо лучшее воздаяние памяти учителя, лучшее проявление преданности ему — развитие его наследия.

Бехтерев был бы наверняка доволен таким докладом. Он именно такого подхода требовал от своих многочисленных учеников. Истинно творческие способности нужны для подобного освоения наследства.

Но участие Бехтерева в судьбах психиатрии вовсе не исчерпывается перечнем собранных им симптомов, накопленных наблюдений и выдвинутых идей. Ибо волей времени и таланта он оказался одним ведущих участников того переворота, что совершался в русской психиатрии в те годы. Переворота нешумного и неявного, мало кому известного, благостного лишь (всего лишь) для нескольких десятков тысяч больных и тех последующих поколений скорбных духом, что наследовали их места. Новый режим содержания больных — режим нестеснения — пробивал себе дорогу в эти годы. С запозданием и тяжело пробивал — Россия отстала в этом отношении от нескольких других стран.

Первым освободивший больных великий врач и человек Пинель оставил замечательное по лаконизму и насыщенности завещание своим сотрудникам и научному потомству. Вот они, четыре пункта этого завета:

1. Тюремный режим с его оковами, цепями, без света, воздуха и человеческого слова подлежит безвозвратному уничтожению.

2. Меры успокоения и усмирения больных должны принять более мягкие формы.
3. Благоустроенная больница есть самое могущественное средство против душевных болезней.
4. Психиатрия должна будет подвигаться вперед тем же путем, каким идут все ветви естествознания и медицины.

В России исполнение этих принципов пришлось на поколение Бехтерева. Он был консультантом (и, следовательно, участником всех реформ) той как раз Окружной больницы, директор которой (и личный давний друг его) Рагозин, выступая вскоре на первом съезде отечественных психиатров, с гордостью сообщил, что все смирительные рубашки перешиты в их больнице на куртки для поваров и пекарей. За последнее двенадцать лет в больнице ни разу не связывали больных. И Рагозин твердо сказал: «Я утверждаю, что врач должен смотреть на смирительную рубашку, как на страшилище, а на себя, как на палача, если он ее применяет».

Интересно, не оттого ли отчасти стал Рагозин (впоследствии директор медицинского департамента, крупный и влиятельный чиновник) таким противником стеснения и принуждения, что еще совсем недавно, перед самым своим отъездом в Казань, был казначеем тайной революционной организации «Земля и воля»? Потом женился, от движения отошел, но ведь главное, что привело его к землевольцам, — ненависть к несвободе всяческой — не она ли и дальше определяла гуманнейшую его деятельность? Неизвестно. Хочется думать так. Бехтерев вместе с ним делал первые опыты по вольному содержанию больных, тогда же и начав занимать их трудом, оказавшимся во многих случаях целебным. Впоследствии он применил накопленный опыт в Петербурге и был одним из первых, кто утвердил в лечении непривычное и странно здесь звучащее слово: трудотерапия. Вот чем занимались у него душевнобольные: переплетными, столярными и поделочными работами, вышиванием ковров, живописью по фарфору и фаянсу. Огородничеством и цветоводством. Музыкой и театром. Пением и сенокосом. Сегодня, о каких бы попытках благотворно воздействовать на больную психику ни пишется в специальной литературе, непереносимое начало — с Бехтерева. Это он испытал воздействие музыки при самых разных душевных недомоганиях, это у него оборудовались палаты с разноцветным меняющимся освещением и разного цвета (для каждой палаты свой) стенами, чтобы исследовать влияние цвета. Это у него для больных устраивались концерты, загородные поездки и «чтения с туманными картинами» через проектор. Об испытаниях новых лекарственных средств нечего и говорить особо: еще далеко впереди был тот переворот в психиатрии, что произведен был в середине века аминазином, но появиться он раньше на пол века — голову на отсечение можно дать — первым бы испытал его Бехтерев. Это именно из его клиники первым поехал врач за появившимся средством от сифилиса

центральной нервной системы и привез, и из его клиники вышли впервые спасшиеся от неминуемого распада и паралича.

Но это уже было в Петербурге.

\* \* \*

Вызов пришел неожиданно, вдруг, в разгар лета и с нарочным был доставлен на дачу. Начальник Военно-медицинской академии предлагал профессору Бехтереву принять главную в стране психиатрическую должность — кафедру нервных и душевных болезней, оставляемую Мержеевским по выслуге лет.

И Бехтерев покидает Казань. В архиве сохранилась благодарность правления Казанского университета за оставляемую им огромную коллекцию препаратов мозга человека и животных. Это десятки тысяч тончайших срезов, позволивших установить с достоверностью и полнотой строение многих отделов нервной системы. Кроме того, остается в наследство университету маленький лабораторный музей: скелет обезьяны, мозг льва, объемная модель проводящих путей головного и спинного мозга человека.

Он уезжает, оставляя попечению учеников основанный им неврологический журнал, открытую им психологическую лабораторию, учрежденное им Общество невропатологов и психиатров. Почетным членом Казанского университета он так и не станет благодаря горячим возражениям, (а возможно, и доносу тайному) разобиженного попечителя учебного округа. О причинах обиды — далее.

Петербург начинался трудно, хмуро и неприветливо. Сразу по приезде выяснилось, что Мержеевский вовсе не хотел уходить в отставку по истечении указанного тридцатилетнего срока службы. Он говорил, действительно говорил многим, что собирается, но было это кокетством заслуженного человека, уверенного, что его попросят остаться.

Отставка по возрасту — справедливое узаконение. Сплошь и рядом оказывается она той единственной благостной мерой, что способна расчистить дорогу молодым, чьи дарования упруги еще и обещают новые горизонты. Старость всегда консервативна, а в науке мудрость консервативности хороша лишь в качестве консультирующего, а отнюдь не решающего звена. Только ведь кто поручится, что место заслуженного, пусть и переставшего уже творчески работать человека займет достойный преемник? Ну пусть достойный даже, но каково уходить, если хочешь еще и можешь участвовать? Справедливость отставки по возрасту — это объективная, надличная справедливость, и холодное ее дыхание больно ранит порой конкретное лицо.

Мержеевский был обижен до глубины души. И не в силах был скрывать обиду. Он, по всей видимости, вовсе отказывался понимать, что им же

взращенные молодые рвутся к делу, облик которого молодость всегда представляет иначе, чем старики.

Уместно здесь вспомнить также, что еще совсем, совсем недавно в психиатрии почти не было русских врачей. Даже истории болезни писались по-немецки, и для новой поросли русских психиатров свежее и молодое рвение к работе, прекрасное ощущение сил и способностей своих неразлично сливалось с некоторой национальной гордыней, естественной (а на отдаленный взгляд — и извинительно понятной) для только-только пробудившегося профессионального самосознания. Этим, впрочем, авторским растеканиям мысли по древу есть авторитетнейшее и объективное вполне (ибо со стороны и неосудительное) свидетельство очень известного профессора Пуссера (ученика Бехтерева, эстонца, первого вскорости в России нейрохирурга). Взято оно из его воспоминаний о Павлове:

«Павлов был ученик Боткина, известного клинициста, который задался целью русифицировать Военно-медицинскую академию, где до этого большинство профессоров были инородцами. Профессор Парашутин - начальник академии — поддерживал энергично эту политику и старался замещать освободившиеся кафедры русскими учеными, главным образом, учениками Боткина. Эти профессора образовали в конференции академии как бы особую партию, которая носила название боткинской партии, и к ней присоединились Бехтерев и Кравков. Эта партия, благодаря своей сплоченности, имела большое влияние в конференции как при выборе членов конференции, так и при решении других вопросов учебного характера. Однако нужно признать, что эта партия все же принесла большую пользу академии, так как все лица, занимавшие кафедры благодаря ее содействию, завоевали себе в науке высокое положение и вполне оправдали возлагавшиеся на них надежды».

Вот отчего в сложнейших и тайных хитросплетениях находились тогда отношения множества преподавателей академии. А если к этому прибавить еще, что Бехтерев уже имел немало недоброжелателей, то можно себе представить, в какое варево слухов и разговоров окунулся он по приезде.

Но другое было хуже гораздо, и совсем этого Бехтерев не ожидал: недавно построенная краса и гордость русской медицины, как писали о ней газеты, оказалась не только в состоянии запущенном, не только проекта наплевательского (цейхгаузы для белья, бани, помещения для подопытных животных просто-напросто вообще забыты). Но главное — по характеру больных — плачевна оказалась больница донельзя - хоть смейся, чтобы скрыть огорошенность. Несколько тех же больных, что знал еще Бехтерев-студент, здоровались теперь с Бехтеревым-профессором.

Если срок пребывания в психиатрической клинике больных мужчин ограничивался двумя годами, потом, коль улучшения не наступало, отправлялись они в другое заведение, то жен своих офицеры имели право содержать в госпиталях бессрочно. Даже если по характеру недомогания можно было взять их домой. Результат оказывался налицо: несколько женщин содержались тут уже более двадцати, а одна — двадцать восемь лет. При этом занять их было решительно нечем: ни швейного, никакого иного труда не было налажено в клинике, а система ухода была древняя — со связыванием и усмирительными камзолами, так что общая картина ужасала. Ни о каком, естественно, научном интересе для кафедры, ведущей в России не было и речи вообще.

А нервная, где же нервная клиника? Тут и вовсе начинался кошмар. На обещанную и необходимейшую клинику для нервнобольных попросту не хватило денег. Их съела постройка психиатрической. Карамзин еще некогда, уж на что благодушествующий историк, на вопрос, что основное делается в России, явственное на поверхностный даже взгляд, сокрушенно отвечал: крадут. Повторить исторический вздох этот Мержеевский мог бы с полным основанием: смета в полмиллиона, в которой много-много всякого загодя было предусмотрено, оказалась вдвое ниже расходов на строительство одной психиатрической клиники. Съеденный миллион помнился, конечно, начальством, и на просьбу Мержеевского подкинуть еще и для нервной клиники (не говоря уже о несделанном въезде — в богатейшую в Европе клинику въезжать через грязный двор приходилось) начальство с понятным раздражением ответило, что ножки следует протягивать по одежке. И больше к дебатам не возвращались. Дороговизна этой постройки, испугав соответствующее начальство, лишила, между прочим, таких же подсобных клиник два университета, уже собравшихся обзавестись лабораториями врачебного опыта.

Потом уже, несколько лет спустя, когда и нервная клиника была построена, и больных стало много меняющихся, и три десятка бесплатных мест для гражданских прибавилось, и первое в мире специальное нейрохирургическое отделение открылось, и о связывании больных думать забыли, и персонал сменился, и работали больные на огородах, и шили, и другим трудом занимались, и оказалась целительной такая занятость, и приезжать стали учиться врачи со всей России, Бехтерев ощутил вдруг такую опустошенную усталость, что, провожая век девятнадцатый, поднял тост за блаженные времена, когда ученые смогут заниматься одной наукой.

— Такого никогда не будет, — возразил ему мальчишка Пуссеп, ученик из самых любимых.

— Ты уверен? — спросил Бехтерев насуплено.

— Конечно, — ответил тот уверенно. — А интриги? А подсиживание? А заработок? Никогда настоящий ученый одной наукой не ограничится.

И Бехтерев, пока смеялись и чокались и кто-то за дежурным врачом бегал — пусть и он, бедняга, хоть рюмку выпьет, еще день покуда, поспит часок, Бехтерев вспомнил отчего-то свое начало в Петербурге, хмурое и тяжелое начало, в котором, кроме всех хлопот и разговоров, были и два брошенных вскользь вопроса, очень, очень многому научивший тогда Бехтерева. Настолько многому, что даже благодарен был он тем, кто задал мелкие эти подловатые вопросы на бегу. Доброжелательно, конечно, задал, как же, без ехидцы безо всякой вовсе на приветливо открытому глазу.

Первый из них задал директор одной из больниц - ничтожество полное по человеческим и врачебным качествам, но умеющий (да ведь и то талант!) множеству людей быть полезным. Тех, естественно, людей, от которых также ожидаема могла быть польза. Он приветливо руку Бехтерева пожавши, с переводом поздравив и назначением, оглядевшись, достаточно ли слушателей, вот что у Бехтерева спросил:

— Как же вы, Владимир Михайлович, в больнице-то управляться будете? Вы ведь больше по животным, я читывал? Или кроликов станете принимать?

Когда в глазах темнеет от ярости, засмеяться - единственное спасение. Бехтерев захохотал, даже голову чуть откинув. А потом сказал приветливо: — Кроликов, конечно, стану, И кошек. А главное - хочу наприимать сучек, состоящих в уличном употреблении. Знаете, всюду бегают и всем подставляются? Хочу выяснить, что за центры этим ведают. Заходите, полюбопытствуете, милости прошу при случае.

И долго-долго шел пешком в тот день домой аж со Знаменской площади, раздумывая тяжело и недобро, что никакие науки и ничто не спасает пока человека от низости, почему-то агрессивной всегда и всегда недоброжелательной крайне, даже хоть и не ущемлены собственные интересы. Ладно, наплевать, обойдется.

А второй вопрос был чуть позже, и к нему без кусочка из истории не подойти.

В же самое приблизительно время, что во Франции, судили за измену несправедливо обвиненного офицера генерального штаба Дрейфуса и весь мир раскалывался в шумных спорах, в России совершилась — куда тише — столь же несправедная расправа. По обвинению в принесении ритуальной человеческой жертвы предали суду десятерых неграмотных вотяков из села Старый Мултан и семерых из них осудили. Как водится, нашелся ученый эксперт, профессор, подтвердивший на суде, что у вотяков встречаются человеческие жертвы (после выяснилось, что основа его уверенности — из народных, да притом еще черемисских сказок) и обвинение состоялось. Его не утвердили верховные юридические инстанции, ибо слишком уж велики были огрехи следствия (подозреваемых истязали, вымогая признание) и

самого судебного процесса, на котором и не пахло беспристрастным объективным правосудием. Однако уже задетая честь мундира заставила вторичный суд снова вынести обвинительный. В дело вмешались два провинциальных журналиста, вызвав себе на помощь известного заступника всех невинно страдающих — Короленко, и гласность помогла справедливости восторжествовать. Невинно обвиненные, измученные следствием и заключением, запуганные насмерть, семеро вотяков были, наконец, оправданы и освобождены, а со всего вотяцкого народа навсегда было снято лживое подозрение в каннибализме. В то время в России повсюду обсуждались подробности кровавого и загадочного мултанского якобы жертвоприношения, и населенная вотяками часть Вятской губернии привлекала к себе пристальное внимание самых разных людей. Бехтерев читал газетные статьи и следил за подробностями дела с горестным и тяжелым недоумением: он-то доподлинно знал, что вотяки не совершают ритуальных человекоубийств, среди них прошла вся его юность, он прекрасно знал их обычаи и быт. Он бы сам с готовностью вмешался, но уже появились специалисты-этнографы, и Короленко уже ссылался на их авторитетные опровержения, звучащие, как один, в оправдание облыжно обвиняемых вотяков.

И вот как раз в разгар этого дела — всюду о нем читали и обсуждали не без горячности — остановился в коридоре академии около группки из пяти — шести немолодых профессоров. Один спросил приветливо: — Владимир Михайлович, мы вот с коллегами только что о вашей статье говорили, книгу «Вотяки» это вы ведь выпустили, да?

Давно уже была напечатана в «Вестнике Европы», а потом и отдельной книжкой вышла юношеская гордость его — собрание материалов о вотяках, подтвердил охотно.

— Вот мы и рассуждаем стоим, — продолжал профессор, — сами-то вы, Владимир Михайлович, не из вотяков ли будете?

Интересно, успел подумать Бехтерев, это они все еще на историю с Мержеевским намекают или просто по злобе молодецкой, хоть и старческой? И ответил со всем уважением, пристально на старшего коллегу глядя: — Я вообще-то коренной русский по всем линиям. Но пока идет мултанское дело, я, безусловно, вотьяк, это вы очень правильно изволили заметить, В такой ведь ситуации каждый порядочный человек — вотьяк, неправда ли?

И ушел, попрощавшись вежливо. Очень злился недолгое время, потому что неприятно очень, когда нелюбовь к тебе проявляется так открыто, но однажды обнаружил вдруг, что вопрос тот — именно вопрос, а не самое дело — удивительную психологическую прививку ему сделал. О ней он уже с полной благодарностью вспомнил ровно через двадцать лет. Мы дойдем до той поры попозже.



Восемнадцатого декабря 1897 года профессор императорской Военно-медицинской академии, директор клиники душевных и нервных болезней Бехтерев произносил речь в актовом собрании академии — широком заседании в честь очередной годовщины ее учреждения. Почетное право сказать речь явилось данью уважения к успехам и уже вполне окрепшей известности молодого — всего сорокалетнего — профессора. По устоявшейся давней традиции выступавший обсуждал проблему хотя и широкую, затрагивающую общечеловеческие (или хотя бы общероссийские) вопросы, но прямо вытекающую из его личной деятельности. Бехтерев выбрал тему, относящуюся к общественной психологии. Речь его через год была выпущена книгой, которая от переиздания к переизданию становилась полней и глубже. Сейчас, в семидесятые годы нашего века, исследователи коллективной человеческой психики с удивлением читают эту до сих пор почти единственную книгу, собравшую в систему факты по запутаннейшей проблеме. Бехтерев положил тогда не первый камень, нет — целую часть фундамента той сложной области психологии, к которой вплотную — наступило время — обратился двадцатый век уже в годы своей зрелости.

\_\_\_ Бехтерев говорил о внушении. О воздействии на психику слова. Слова, которое «вторгается в психическую сферу, как тать, и производит в ней роковые последствия». Поддержанное жестом, мимикой, интонацией, убежденностью, обаянием, ссылками на непререкаемый авторитет, эмоциональным запалом, лестью, сочувствием окружающих — всеми этими факторами, порождающими доверие, слово падает на взрыхленную почву, из которой семя его прорастет мнением, решимостью, мировоззрением.

Тема «Внушение и его роль в общественной жизни» значилась на оповещении о предстоящем выступлении профессора Бехтерева в актовом годичном собрании академии. А потом на титульном листе книги. первого издания, второго, третьего. «Внушение и его роль в общественной жизни».

Главный акцент падал не на ту разновидность внушения, когда врач (или исследователь), погрузив больного (или подопытного) в гипнотическое состояние, внушает ему непременно скорого излечения, возврат хорошего настроения и состояния, необходимость бросить пить или иллюзию, что человек делает нечто или где-то находится. Такое внушение под гипнозом лишь небольшая часть общего понятия о внушении, о властном воздействии, которое незаметно и многообразно пронизывает жизнь каждого. Во вполне бодрствующем состоянии.

Внушение — это то давление, которое оказывают люди друг на друга словами (основное средство внушения), интонацией, мимикой и жестами, собственными поступками и действиями, самим фактом своего участия или неучастия, симпатии, отвращения, ненависти, любви или страха. Внушение — это всякое «производимое на психику впечатление», попадающее в мозг

помимо сознательного контроля разума, в этом его основное отличие от убеждения. Сплошь да рядом человек оказывается обладателем понятий, совершает поступки или прочно обзаводится мнениями, которые, всмотревшись пристальней (или будучи спрошенными) обосновываются лежащими на поверхности доводами: такой-то говорил, что это так (или что так надо); все поступают так; общеизвестно, что это хорошо (или плохо); принято считать и делать именно так. И все. В принципе все нормы человеческого общения – эти истины, внушаемые нам с детства; истины того общества, частицей которого мы становимся с рождения.

Но внушение идей о поведении и общении, о нравственности, о принятых в каждом данном обществе, группе, семье нормах «хорошо» и «плохо» - лишь крохотный пример. Внушение непременно содержится в любом общении людей. Совет, указание, высказывание собственного мнения и оценки уже таят в себе внушение. Любое обучение — внушение идей и представлений о мире. Любая речь — внушение, действенное или пропадающее впустую в зависимости от таланта говорящего и готовности в меру доверия, неспособности проверить, лености или скудости слушателей. Даже простое сообщение сведений – внушение, цепко западающее в архив знаний и миропонимание или невоспринимаемое, отвергаемое, отрицаемое.

Для успеха любого внушения необходима заведомая вера слушателя в честность или знания, совесть или могущество, доброжелательство или правомочность — короче, в авторитет внушающего в области, к которой относится внушение. Однако, все сообщаемое с детства — самого внушаемого возраста, когда только формируется разум (о контрольных способностях его еще нечего, естественно говорить), — это одновременно и почва, на которой вырастают понятия о критериях авторитета, кому нужно и можно безоговорочно верить, о тех, чьи слова будут восприниматься в дальнейшем с доверием и готовностью, ощущаться как естественные и единственные решения собственного разума, проникать «с заднего крыльца, минуя парадный ход сознания». Авторитет внушающего — ключ от этого черного хода.

Внушают родители детям, учителя ученикам, говорящие слушателям, врачи пациентам, люди друг другу, вниз и вверх по лестницам и цепочкам социальных, родственных, интеллектуальных, любовно-дружеских, любых человеческих взаимоотношений, связей и общений. «Не замечая того сами, мы приобретаем в известной мере чувства, суеверия, предубеждения, склонности, мысли и даже черты характера от окружающих нас лиц, с которыми мы чаще всего общаемся».

С этого Бехтерев и начал свою речь. С «психического контагия» — духовного контакта людей друг с другом, контакта непрерывного и длящегося с рождения до смерти.

Не скупясь на образы, Бехтерев говорил о взаимной психической заражаемости при посредстве микробов, которые, «хотя и не видимы под микроскопом, но тем не менее подобно настоящим физическим микробам действуют везде и всюду и передаются через слова, жесты и движения окружающих лиц...»

Бехтерев говорил о постоянном воздействии и влиянии людей друг на друга — «факторе, полном глубокого значения как в повседневной жизни отдельных лиц, так и в социальной жизни народов». О сцепленности и перевитости убеждения и внушения, их неотличимости порой друг от друга, об их согласной поддержке при взятии обществом индивидуального разума то штурмом доводов, то троянским конем внушения.

Внушаемость простирается от быстрой склонности и легкой податливости чужому мнению до ее крайнего, уже патологического выражения — неспособности двинуть рукой или ногой, если кто-то тоном, не оставляющим сомнений, заявляет, что ими не удастся, двинуть.

Последнее естественно и обычно под гипнозом, когда сознание отключено, и внушение — слово со стороны — всевластно распоряжается способностями человека действовать и ощущать.

Однако встречается такая податливость, что и в бодрственном состоянии мозг послушно впитывает слова, становящиеся для него программой действий и ощущений.

(Ровно год назад, осенью 1896 года, в клинику академии был доставлен молодой парень, страдавший тяжелейшими судорожными припадками и уже полтора месяца неподвижный — во время одного из приступов отказались повиноваться обе ноги. Готовя речь, Бехтерев сделал пометку: непременно рассказать об этом случае, диковинном даже для него, видевшему столько, что, казалось, чувству удивления пора уже атрофироваться.

По традиции вновь поступившего осматривали все врачи больницы, и профессор возглавлял осмотр, на ходу щедро делясь опытом диагностирования и расспроса.

Юноша был погружен в гипнотическое состояние, и Бехтерев негромко, но категорически сказал ему, чтобы он встал и пошел. Больной, только что привезенный из палаты на коляске, спокойно встал обе ноги и прошелся по комнате. Это не было удивительным, и если оставалось еще необъяснимым наукой, то зато встречалось довольно часто. Где-то замыкались нервные цепи, ведающие движением, и орган выпадал из управления.

Под гипнозом такое расстройство часто удавалось восстанавливать.

По пробуждении больной с восторгом отправился в палату пешком, до самой двери непрерывно оглядываясь на Бехтерева. Такими же глазами века назад смотрели исцеленные от подобных расстройств то на египетских жрецов в храме Тота, то на врачей в древнегреческом святилище Асклепия, то на священнослужителей Лурда, то на шаманов и ведунов во всех частях света.

Однако вторично осматривая юношу перед лекцией для студентов, Бехтерев установил, что его вполне можно было и не погружать в гипноз. В совершенно бодрствующем состоянии он с легкостью подвергался любому внушению. Достаточно было сказать ему — и начинались судороги, их можно было перевести в неподвижность паралитика, не умеющего не только двинуть рукой или ногой, но даже лишённого мимики, он поддавался внушению любых галлюцинаций, иллюзий, ощущений.)

Но — это крайний, уже патологический случай внушаемости. Что же до внушения мнений, надежд, взглядов и оценок, то в разной степени и от разных лиц подвержен внушению любой человек. Обращенное к человеку слово всегда действует внушающе, и если не всегда (далеко не всегда!) сказывается решающим образом, то все же влияет и откладывается где-то. Поэтому яд медленного внушения от слов Яго постепенно проникал в душу Отелло (гениальная фраза Пушкина «Отелло не ревнив, а доверчив» как раз и говорит об этом), отсюда пословица иезуитов: «Клеветщи, клеветщи, что-нибудь да останется», отсюда неодолимо западающий в разум то больший, то меньший результат любой проповеди, любого выступления, особенно одетого в факты (даже подтасованные), особенно горящего убежденностью и пафосом (даже бенгальским), особенно подкрепленного авторитетом (даже нарочито раздутым или не относящимся к проблеме).

Люди привыкли ориентироваться на мысли окружающих — это вполне разумная, более того, жизненно необходимая основа общественного существования, без которой человечество никогда не двинулось бы вперед от первобытного стада полуобезьян, обладавших лишь мощно развитыми, но убогими общественными навыками — подчинением и подражанием. А в человеческом обществе любое слово, идея, мысль, мнение. распространяются широко и внушающе, позволяя множеству пользоваться готовыми духовными ценностями. Так, внушаемость позволяет в детстве доверчиво и с великой пользой впитать продукты интеллектуальной работы целых поколений, опыт целых исторических эпох.

Однако, как и любой подарок природы, внушаемость имеет обратную сторону, участвуя в организации массовых психических безумий, ослеплении тысячных толп населения деревень и городов, а порой и целых народов.

Бехтерев анализировал средневековье. Если какой-либо период истории рассматривать хотя и объективно, но намеренно узко, с заведомым интересом к одной лишь стороне эпохи, возникает представление странное и сильное; недостаток его — односторонность, преимущество — необычайная яркость. Но польза суженных преувеличений состоит как раз в том, что рельефней проступает главное, из-за чего поднимали тему. Под бехтеревским углом зрения легко было увидеть средние века периодом всеобщей, повальной, круговой душевной ослеплённости. Порожденной религией и церковью, церковью же культивируемой и преследуемой одновременно.

Пылают костры, на которых жгут ведьм и колдуний (под пытками, чтобы оставили в покое, даровав смерть, многие из них сознаются, это зримо убеждает окружающих, готовя следующие жертвы). По дорогам тянутся колонны людей, обнаженных по пояс и до крови бичующих себя и друг друга (на конце треххвостой плети острые куски железа) под отчаянные, в голос покаянные молитвы, колокольный звон и слезы о прощении грехов. На площадях городов одержимо пляшут (и не пляшут даже, а беснуются) тысячные толпы, танцы переходят во всеобщие судорожные припадки. Раз в несколько лет очередная гигантская армия крестоносцев, опустошая все на своем пути, отправляется на освобождение гроба господня. Это не столько рыцари, закованные в латы и произносящие красивые монологи из романов Вальтера Скотта, сколько прежде всего — вереницы тянувшихся за всадниками обозов: крестоносцы везли с собой стариков, женщин, детей, весь скарб и домашнюю скотину. Они глухи к голосу рассудка и слепы ко всему, что видят вокруг, их глаза горят внутренним огнем психозоподобной одержимости. И костры, костры, костры.

Внушение, что вокруг — враги истинной веры, уступившие тайным уговорам дьявола, люди средневековья воспринимали тем более податливо, что в мировоззрении их (идеях, внушенных с детства) дьявол и его армия являлись реально существовавшей силой. Человека незримо сопровождали повсюду два враждующих попутчика: ангел-хранитель и искуситель на козлиных ногах. Демоны кишели в лесу и жилищах, в церквях и на площадях, на уличных перекрестках городов и пыльных деревенских дорогах. Непрерывные рассказы очевидцев лишь укрепляли эту убежденность. Ангел мог отвернуться, отказаться, ослабеть, демон не дремал и не отвлекался. Особо податливые внушению страдали от страхов и порожденных ими неврозоз женщины, которых более всего обвиняли в колдовстве. Но когда охота за ведьмами достигла наибольшего накала, на кострах все чаще стали погибать и те, кто оказывался в состоянии противостоять повальному внушению, выдвигая доводы разума. Инквизиторы вполне обдуманно и предусмотрительно объявили, что ересь номер один — сомнения в наличии повсюду врагов веры. «Это заблуждение появилось между некоторыми учеными людьми отчасти от недостатка веры, отчасти от слабости и несовершенства ума». Ересь такого рода следовало пресекать особенно

жесток: голос сомнения точит здание внушения неумолимо, как солнце — снег.

Во втором издании книги (в 1903 году) у Бехтерева появляется чудовищный пример фанатического внушенного ослепления. Недавно отшумевшее в Китае, закончившееся, естественно, поражением стихийное народное восстание против колонизаторов носило название «боксерского» — от названия общества одержимых Ихэтуань («кулак во имя справедливости и согласия») активных участников движения. В общество вербовали юношей и девушек из близких и дальних районов, обещая им... неуязвимость, ибо если они достаточно поверят в победу, то тем самым просветятся настолько, что станут недоступны пулям. Эти обреченные шли впереди отрядов восставших с цветами и разноцветными флагами в руках, своим озаренным энтузиазмом увлекая остальных. Первые же залпы косили их, но погибшие объявлялись недостаточно просветившимися, и вербовка по-прежнему собирала поверивших. Внушению чрезвычайно способствовали сведения, чуть не по официальным каналам разносящиеся по стране: о том, как два «просветленных» мальчика одной ниткой повалили здание католического храма Б Мукдене, о том, что только благодаря присутствию в отряде трех «неуязвимых» было захвачено двадцать семь бронепоездов, и прочие легенды.

Готовя выступление, Бехтерев снова, как делал это всегда, обратился к архивам своего казанского периода. Вполне естественны в такое время счастливые ситуации, которые подсовывает Его Величество Случай.

И ничем иным, кроме случая, думал, возможно, Бехтерев, горбясь над папками архива, нельзя объяснить тот факт, что ровно пять лет назад губернатор Киевского округа, опасаясь развития странных народных волнений, распорядился перевезти виновника их, сумасшедшего Кондратия Малеванного, из Кирилловских богоугодных заведений (больница на окраине Киева) за тысячу верст — в Казань (именно в Казань!), где Малеванного определили в Окружную лечебницу Всех скорбящих.

Поздней осенью 1892 года в Казань прибыл (по этапу, с конвойными, слегка ошеломленными от потока монологов, услышанных дорогой) высокий худощавый человек с резкими чертами лица и решительными четкими жестами. Говорил он много и красноречиво, неудержимо увлекаясь, упиваясь звуками своего голоса, и тем, что он изрекал (он сам с восторгом и удивлением слушал все, что говорил). Вместе с больным прибыли сопроводительные бумаги (историю болезни писал профессор Сикорский, вскоре он выпустил книгу об этой психической эпидемии).

В ту зиму они беседовали часами. Врачу, профессору Бехтереву было тридцать пять; больному, бывшему колеснику Малеванному, — сорок

восемь. Первый умел профессионально слушать, самым видом своим и неотрывным интересом располагая к душевной открытости, второй без усталости говорил, как и подобает пророкам.

Ибо неграмотный мещанин из города Таращи Киевской губернии был не кем иным, как Иисусом Христом. Евангельского Христа на самом деле не было, и в Священное писание вкралась ужасная ошибка. Там написано: «был Христос, страдал и умер», а следует на самом деле читать: «будет Христос, будет страдать...» и так далее. Это пророчество о появлении его, Кондратия Малеванного, в котором вселился дух божий. Доказательство? Описанное в газетах всего света появление новых ярких звезд, которые видны с территории двадцати пяти государств. Дрожание и судороги, постигающие его во время молитвы. Несравненные запахи, которые он непрерывно ощущает. Отрыв его головы от туловища и поднятие вверх, что часто видели ученики и последователи. Тысяча изменений, которые он ежедневно испытывает в своем сердце: то скорбь и муку, то радость и восторг, то трепетное ожидание. Разве этого мало? И неважно, что сейчас он в Казанской больнице, о чем тоже были пророчества и предсказания. Это видно уже из самого слова: «Предсказание — сказание — казание — Казань,» — говорил он, проникательно улыбаясь. Кроме того, шесть лет назад к нему на поклон приходил Иоанн Креститель, переодетый солдатом-отпускником. Он показывал свой солдатский билет и просился переночевать.

В общем, банальный случай. Любой психиатр насчитал бы в своей практике десятки встреч с такими расстройствами. По классификации того времени — религиозное помешательство. Однако этим неграмотным, энергичным и эмоционально проповедующим больным была вызвана гигантская психическая эпидемия, одна из наибольших, вероятно, в конце прошлого века — уже вполне зрячее и просвещенное время.

Листая записи, достав с полки дарственный экземпляр книги об эпидемии, Бехтерев с благодарностью и приязнью думал об авторе ее, профессоре Сикорском. Как он зорек к деталям, проникателен в анализе патологической психики малеванцев. Бехтерев листал книгу и делал для себя заметки, становившиеся кирпичиками речи.

«Для всякого непосвященного наблюдателя может, конечно, показаться странным, что заведомо душевно-больной, каким является Малеванный, мог найти себе поклонников, хотя бы из простого народа.

Как бы ни был неразвит простой народ, но он чуток к основным религиозным догматам и... всегда с негодованием отвергнет мысль, что какой-то безграмотный мещанин является Христом...

Но внушение делает другое...»

Что именно делало внушение, следовало далее в виде описания эпидемии. В ожидании конца света, в который уверовали последователи, они распродали свой скот, домашнее имущество и приготовились к Страшному суду.

Но почему больной Малеванный оказался вожаком и центром психопатической эпидемии, почему вопреки чуткости к «основным религиозным догматам» односельчане, а потом и жители окрестных сел все же не отвергли «мысль, что какой-то неграмотный мещанин является Христом»? Бехтерев не останавливался на этом подробнее, считая, что уже объяснил понятиями, изложенными ранее — там, где говорил, что внушение в отличие от убеждения (пружины которого — логика и доказательства) действует путем постепенного уговора, путем увлекательной и взволнованной речи, путем жестов и мимики.

Убежденности у больного фанатика Малеванного хватало, но главное — она падала на подготовленную почву. «Народные массы, — пронциательно писал Сикорский, — непрерывно ищут спасителя». А веря в самую возможность его появления и прихода, им легко уже поверить фанатику. Правда, дальше этого пронциательность Сикорского не шла. Он не касался причин, побуждавших народные массы искать спасителя, не отвечал на вопрос, зачем он им нужен. Спаситель — от чего? Но как врач он был точен:

«Самой существенной чертой описываемой эпидемии является склонность, скорее даже — неудержимая потребность у заболевшего населения собираться массами и предаваться порывам психического возбуждения. В их сердце нет доброты, нет и признаков нравственного обновления, даваемого новой религией, не заключается терпимости и снисходительности; напротив, они проникнуты духом крайнего кощунства и враждебности к своей прежней религии, которую они готовы были бы попирать и разрушить, если бы тому не мешали внешние условия».

Полностью забросив все свои обычные житейские заботы, малеванцы предавались коллективным молениям, в радостном экстазе легко доходя до судорог и галлюцинаций. В ожидании скорого конца света и полной перемены жизни они беспрерывно с благодарностью говорили о Малеванном, отказывались отвечать на вопросы врачей, ссылаясь на то, что все устраивает их Отец и Спаситель; прибывшие на место эпидемии психиатры отметили полную недееспособность, расслабленность, отсутствие собственной воли, выключенность разума и фанатичное упование на вожака. Малеванного изолировали от паствы. (Когда однажды его на короткое время попытались отдать родным, брожение немедленно усилилось.) К Кирилловской больнице потянулись толпы почитателей. Они с презрением и негодованием смотрели на местную церковь (расписанную, кстати, Врубелем и Васнецовым) и толпились у забора, куда выходил разглагольствовать Спаситель. Внушенное им уважение к его давно уже предсказанным, теперь



еще и подтвердившимся гонениям и мукам было глубже авторитета врачей, пытавшихся рассеять толпу уговором, сильнее страха перед полицией, которая разгоняла их. Когда Малеванного по этапу отправили в Казань, толпы озаренных его учением день ото дня постепенно возвращались к разуму.

В речи Бехтерева специально приводились впечатляющие факты наиболее острых и массовых действий внушения, чтобы стала очевидной и подчеркнутой неременная роль его «при всяком движении умов», в том числе и мелком, повседневном. Бехтерев говорил: «Ввиду этого я полагаю, что внушение как фактор заслуживает самого внимательного изучения для историка и социолога, иначе целый ряд исторических и социальных явлений получает неполное, недостаточное и, быть может, даже несоответствующее объяснение».

Так говорилось о внушении в годы умозрительной, описательной психологии, только еще стремящейся стать наукой. Конкретное познание этого явления психики оставалось грядущим исследователям.

Бехтереву внимало собрание чрезвычайно разных людей. Военные и гражданские, мужчины и женщины, преподаватели и слушатели, ученые, чиновники просто и чиновники от науки, сановники, опекавшие академию. Разные по способностям, уму, интеллекту, знаниям и убеждениям, воззрениям на мир и друг друга, разных характеров и темпераментов, должностей и чинов, возрастов и привязанностей, стремлений и интересов. Что могла дать им эта речь, кроме кристального прояснения одной из граней человеческого общения, одной из форм влияния людей друг на друга, общества на единицу и наоборот? Оставалась ли эта речь в стандартных рамках стандартных сообщений или как-то влияла на слушателей?

Влияла безусловно и глубоко. Как вскоре, став книгой, — на читателей. Внушала странное, навязчивое и даже раздражающее желание оглядеться, подумать и присмотреться к своим и чужим взглядам, убеждениям, понятиям и представлениям. Оказывалось, что происхождение и суть многих из них никогда не поверялись разумом и есть не что иное, как устойчивая система бытовых, религиозных и сословных предрассудков. Впитываемая постепенно и исподволь, вводимая годами, эта система всегда представлялась незыблемой, естественной и, более того, единственно возможной. Она приводилась в действие автоматически, полностью определяя поступки людей и самую их жизнь. А между тем, возможно, пришла пора пересмотреть отдельные части этого незримого механизма, ибо единодушные решения, общепринятость мнений, распространенность убеждений, сходство взглядов, единство оценок, слитность действий и одинаковость отношений сплошь и рядом рождаются вследствие не личного, каждому свойственного

анализа, а массового внушения, распространяющегося, как подземный пожар.

Но оглядеться вокруг — всегда значит увидеть что-то свежим взглядом, пересмотреть и переосмыслить. Среди слушателей Бехтерева было немало тех, кто понимал опасность и пагубность такой трезвой ревизии. Под их костюмами и мундирами бились сердца, беззаветно преданные установленному порядку. Тому порядку, в незыблемости которого они были кровно заинтересованы, которому навечно были обязаны каждой минутой своего благоденствия. Тому порядку, который оказался достаточно разумен, чтобы обеспечить их ценное благополучие, а следовательно, достоин существования и ограждения от любого пересмотра. Щекочущее ощущение опасности — шестое чувство блюстителей (как профессиональных, так и по любви).

Были среди слушателей Бехтерева и другие. Однако вот что интересно: как у охранителей, так и у фрондеров аппарат восприятия и анализа устроен, в сущности, одинаково. И стремящиеся к изменению порядка, и препятствующие этому, одинаково понимая цель, одинаково видят средства. А потому одинаково легко усматривают в новых даже чисто научных идеях и построениях если не их полную суть, то зато их крамольный дух, их полезность (в оценке одних) или пагубность (в оценке других) для существующего порядка.

Очевидно поэтому общепринятые поздравления с успехом речи были в тот раз либо чрезмерно горячи — преимущественно молодых, чрезвычайно уповающих на речи; либо необычно сдержаны, осмотрительны и как бы затушеваны глубоким раздумьем, терзавшим в это время поздравлявших, — преимущественно старших, чья громогласная устремленность молодости уже сменилась упитанным здравомыслием.

В этом коренастом и плотном, уверенном и спокойном профессоре отчетливо проступала странная и пугающая одних, восхищавшая других черта, которую непривычно было видеть у людей преуспевающих: полное — до неприличия — непонимание того, что некоторые темы лучше не то что не развивать, но даже и не затрагивать. Черта, в чрезвычайной степени свойственная Бехтереву как молодому — еще студенту, так и впоследствии — академику, когда в департаменте полиции уже лежало найденное ныне «дело академика Бехтерева». Впрочем, мы еще дойдем до него.

И больные, больные, больные из всех слоев и кругов расслоенного донельзя населения города. У больных во все времена и эпохи одинаковые, должно быть, глаза — в них и боль, и терпение, и надежда.

Все, чего достиг Бехтерев и его современники в анатомии нервной системы и в знании управляющих связей мозга, немедленно поверялось в клинике,

служба распознаванию места повреждения нервной системы. Это было не легче, чем вылечить, исцеление оказывалось лишь второй стадией в этой борьбе за возвращение к норме. Главную свою славу Бехтерев приобрел как невропатолог. Среди коллег — как диагност, среди десятков тысяч больных и их близких — как целитель.

Для части болезней были аналогии в тех расстройствах, что причинялись подопытным животным при изучении функций мозга.

(Одна из таких аналогий, кстати, здорово отравила Бехтереву жизнь в Казанском университете. Попечитель Казанского учебного округа ходил (человек дотошливый, мерзкий и окружающими нелюбимый) приволакивая непослушную левую ногу, плохо владея левой рукой и мышцами левой стороны лица тоже не владея почти. И такой же точно полупаралич вызвал в это время молодой профессор Бехтерев у одной из обезьян, исследуя проводящие пути двигательной области мозга. Один из преподавателей, злостью своим достаточно известный, за веселую шутку почел сообщать всем встречавшимся коллегам, чтоб спешили скорей в лабораторию: «Бехтерев, — говорил он, — попечителя сделал». Результатом были не только возросшие для Бехтерева трудности при любом обращении к начальству, но и месть попечителя, мелкая, чисто чиновничья месть: за все время своего пребывания в Казани профессор был награжден лишь Станиславом третьей степени — орденом для мелких служащих и старательных писмоводителей. Наплевать, конечно, что там обсуждать: о попечителе эта месть говорит больше, чем о ком-нибудь еще. Правда, он потом и в Петербург еще писал, возражая против избрания Бехтерева почетным членом Казанского университета. Больше из длинного списка никто не вызвал у него возражений.)

Но кончались аналогии очень скоро — лишь на малой части случающихся или вызываемых у животных нервных расстройств. И тут начиналось то непостижимое искусство, которое делает врача врачом, от исследователя его отличая.

Нет, впрочем, надо оговориться сперва: методы распознавания были. Проверялась чувствительность больного по всему телу: к прикосновению, уколу, давлению. Проверялись также, естественно, зрение и слух. Бехтерев и его ученики открыли волосковые ощущения, независимые от прикосновения к коже. Этот вид чувствительности тоже стал одним из признаков выяснения болезни. Исследовалась звуковая проводимость костей черепа — Бехтерев предложил прибор для ее измерения. Вообще, добрый десяток приборов его конструкции появился в дополнение к главным давним инструментам невропатологов — иголке и молоточку.

И множество новых симптомов и признаков распознавания расстройств появлялось в его статьях. Разной была их необходимость для точной постановки диагноза, разной была достаточность для уверенности в этом диагнозе. Но то главное, что приносит медицине каждый большой врач — добавление найденных признаков и симптомов в общий инструментарий диагностики, Бехтеревым было вложено в огромной мере.

Ответы мышц и нервов на постукивание молоточком в самых разных местах тела — рефлексy по терминологии невропатологов — важные определители болезни. Пользу их трудно преувеличить: характер движения, например, пальцев ноги при проведении рукоятью молоточка по подошве или при ударе по костям стопы говорит специалисту о центральном повреждении мозга. Рефлексов таких десятки, и несколько открыты Бехтеревым. Два же из них носят его имя во всей мировой литературе.

Множество описанных им болезней и расстройств нервной системы ложилось в общее хранилище наблюдений над вариантами ее срывов. Он так и писал в своих статьях по невропатологии: «Указанные факты имеют для нас живой интерес и побуждают к собранию наибольшего числа точных наблюдений, что заставляет меня опубликовать следующий случай».

И далее шло описание случая — подробное, детальное, скрупулезное. Он описывал удивительные, бесценные для невропатологов явления: неудержимый смех или плач при отдельных поражениях мозга, случаи эпилептических судорог, начинающихся от слушания музыки (притом безразлично — от элегической или бравурной музыки, просто патологически воздействовал на мозг сам музыкальный ритм); описывал ложное чувство движения давно парализованной конечности (даже при взгляде на нее не исчезала эта иллюзия); описывал случаи внезапных временных застываний, когда больному вдруг полностью переставало на миг повиноваться тело; описывал влияние поражений нервных путей на изменения кожи, походки, мимики, движений, жестов. Всегда назывался наиболее вероятный характер поражения, влекущего расстройство, а часто и производилось подтверждение гипотезы, высказанной ранее. Не существовало с некоторых пор ни одного раздела в невропатологии, где обошелся бы серьезный разговор без идей, фактов, наблюдений, гипотез Бехтерева.

А одна из болезней навсегда получила его имя. Выделенная им и с несомненностью отличная от прочих поражений позвоночника, только до поры скрытая среди них. Он подсмотрел, выявил ее и доказал ее отдельность и самостоятельность. Немногие болезни носят имя своих первооткрывателей, ибо редки случаи, чтобы только один-единственный человек сумел увидеть то, мимо чего прошли сотни его коллег — современников и предшественников.

Распознав — лечить, лечить! Он удивительно делал это. Еще вполне по-прежнему справедлива была шутка лектора, читавшего им в академии фармакологию: лекарств хотя и тьма-тьмущая, но все по-настоящему действенные средства легко можно записать на ногте большого пальца. Разнообразя и совмещая различные снадобья, Бехтерев создал собственную смесь — микстуру, носящую его имя, до сих пор применяющуюся при лечении некоторых неврозов.

О том, как он лечил словом, говорилось уже особо, но уместно вспомнить нам здесь о третьем компоненте лечения, третьем инструменте исцеления, который уже и древние в слабой мере, но все же знали, тройственное содружество лаконично обозначив некогда: трава, слово, нож. А все, что сделал Бехтерев для российской нейрохирургии, — пункт особый, знаменательный, не минуемый в его биографии никем. Равно, как и в биографии хирургии.

Старшее поколение хирургов еще и в это время очень сдержанно отзывалось о возможностях и перспективах «черепосверления». Слишком темна и неизвестна пока была эта область — связей мозга с внутренними органами и влияние его на все проявления человека. До работ Бехтерева и соратников его во всех лабораториях. Но и в эти годы операции на мозге делали пока общие хирурги, а невропатологи — только консультантами при них были с правом совещательного голоса и неуверенного совета. Для вскрытия черепа применялся в академии механотрепан с двигателем, ручку которого вращал дежурный солдат, и маячил возле хирурга, почти не знающего анатомию мозга, невропатолог, еще плохо знающий функции его областей. Ситуация эта не могла не перемениться, просто должна была перемениться с ростом знания и понимания мозга.

И вот, открывая новую — после перестройки — клинику нервных болезней, Бехтерев сказал с гордостью, что при ней начинает действовать первое в мире специальное операционное отделение. Отныне сами невропатологи возьмут в руки нож общих хирургов, возьмут по праву и по обязанности знания.

На всех операциях первые годы он безотлучно присутствовал сам. И не только чисто врачебное волнение за подопечную чужую судьбу, и не только естественное исследовательское любопытство держали его часами у стола, невзирая на другие дела, которых было невпроворот, ежедневно, от рассвета до ночи, но еще и азарт. Дело в том, что теперь диагнозы его проверялись за считанные часы, проницательность ежедневно ложилась на весы, нож объективно и неоспоримо поверял степень интуиции. Оттого и простаивал он теперь часами рядом с первыми нейрохирургами, его же учениками, волнуясь так каждый раз заново, словно зависела от операции его собственная судьба.

Диагнозы чаще всего подтверждались. Он, казалось, просто чувствовал нервную систему, как может чувствовать человек, неоднократно разбиравший (и собиравший — очень хотелось бы написать, но этого с живым существом не делают смертные еще и посейчас) самый сложный и точнейший, но обозримый и понятный механизм.

А потом открылось первое в России специально нейрохирургическое отделение. Сегодня, когда невропатологи, вооруженные ножом, делают операции, исход которых с ужасом и уверенностью предрекли бы еще только их предшественники старшего поколения, когда на каждые десять выздоравливающих благодаря ножу больных приходится шесть или семь, еще вчера непременно обреченных, стоит, очень стоит вспоминать изредка, кто именно вырастил в России первое поколение хирургов мозга.

Испытуемый, к которому приехали ввиду его дряхлости на дом два эксперта-психиатра, сидел прямо и неподвижно в большом вольтеровском кресле, и старчески одутловатое лицо его было каменно застывшим. Отвечал он без промедления, четко и ясно выговаривая, будто роняя по одному слова, разумные и без тени слабоумия, на котором настаивали сыновья. Владелец огромной кожевенной фабрики, он вдруг объявил о своем решении полностью продать ее, а деньги — до единой копейки — вложить в научные исследования, доказывающие бытие или отсутствие бога. Встревоженные сыновья возбудили дело о недееспособности выжившего из ума старика и установлении опекуна. Два лучших в стране эксперта, члены Медицинского совета были приглашены для разбирательства дела. Профессора Балинский и Бехтерев. Даже выйдя в отставку, Балинский продолжал оставаться непререкаемым авторитетом и много занимался подобного рода экспертизой. Они часто встречались теперь в Медицинском совете, но Бехтерев до сих пор не в силах был преодолеть сковывающее почтение к учителю. И вовсе не в тридцатилетней разнице возрастов крылись корни этой робости. Несмотря на полгую простоту в обращении, были в Балинском явственно ощутимы, очень подлинны глубина и величие, и Бехтерев — уже сорок скоро, сам всемирно известный исследователь (кстати, уже сейчас более известный, чем Балинский) — чувствовал себя рядом с ним боязливым из провинции школяром.

Балинский продолжал расспросы.

— Но из задуманного вами мероприятия следует неопровержимо, — говорил он так же медленно, чуть склоняя бледное и узкое, тоже старческое свое лицо и только темные глаза взблескивали очень оживленно, — следует ваше полное неверие в бога, не ли? С истинной верой не отваживаются на поиски и проверки.

— Отчего же? — спокойно возражал старик, переводя блеклые помутневшие глаза то на собеседника-сверстника, то на молчальника помоложе с насупленным лицом и широкой, слегка седеющей бородой, то на дверь, за

которой волновались, должно быть, обездоливаемые им сыновья. — Отчего же? Сейчас единственная настоящая форма веры — это жалость и сострадание. Создатель, скорее всего, плачет бессильными слезами, глядя, что он натворил на земле и не в состоянии теперь исправить. Так что где-нибудь можно и обнаружить его наличие. Вместе, может быть, и разберемся.

Здесь явственно обнаружилась тема легкого бреда, и Балинский задал новые вопросы. Бехтерев продолжал молчать, переводя взгляд с одного на другого. Потом они простились и вышли. Сыновьям было сказано, что их вызовут дня через два.

Молча сидя в коляске, все еще перебирая мысленно вопросы Балинского и прикидывая ревниво, смог ли бы так же сам, Бехтерев вспомнил историю, рассказываемую об одной экспертизе учителя. Содержавшийся под следствием убийца девушки-служанки проявил ярчайшее и неоспоримое помешательство, что послужило бы ему оправданием ввиду неменяемости. Одержимый сразу двумя видами душевного расстройства, этот убийца был показан Балинскому. Тот сострадательно и со вниманием расспросил, выслушал и осмотрел его. А потом сказал: теоретически картина сразу двух болезней неоспорима, но практически - одна всегда исключает другую. Под следствием замечательно способный симулянт. И убийца вдруг спокойно сказал: «Ладно, чего там притворяться». Под тюфяком в камере у него нашли учебник с аккуратно подчеркнутыми — облюбовал и разучил — симптомами сразу двух расстройств психики. Он неосторожно совместил несовместимое.

- А почему вы ничего не спрашивали, Владимир Михайлович? — заговорил вдруг Балинский. Бехтерев подвозил его домой на Кировную, Балинский попросил отложить писание протокола экспертизы до завтра, ссылаясь на легкое недомогание. — Было все же? Неужели?

- Да нет, — сказал Бехтерев сконфуженно. — Просто предпочел поучиться у вас еще раз. Удивительно вы делаете это.

- Ну, ваши экспертизы я читал предостаточно, — польщенно возразил Балинский: ненарочитая лесть явно пришлась по сердцу одинокому старику. — Вы это делаете не хуже. Вы прирожденный психиатр. Вы сразу ведь хотели стать психиатром, конечно?

— Нет, почему-то акушером хотел, — засмеялся Бехтерев. — Сам сейчас не вспомню, почему.

Балинский тоже засмеялся негромко, явно собственному какому-то воспоминанию. Бехтерев вопросительно глянул на него.

— Я молодым врачом очень бедствовал, — Балинский сразу же отозвался на немой вопрос, — и однажды положение дошло до точки: в доме буквально ни копейки. Четверо уже детей было. Сидим с женой, раскидываю, куда бы кинуться в долг. Жена говорит: не надо, в последнюю минуту придет помощь. Час довольно поздний, заметьте. И какую минуту считать

последней? Вдруг звонок, входит человек и умоляет немедленно поехать к роженице. Не могу, отвечаю, помилуйте, не акушер я вовсе, повредить могу только. Хотите, говорит, на колени стану? Срочно, срочно надо, вы же врач, должны помочь. Вид совершенно обезумевший. Что делать? Собираюсь, еду. По дороге вспоминаю лихорадочно, чему учили. Представьте себе, все обошлось замечательно. Получил наутро очень щедрый гонорар. Отец благодарил со слезами на глазах. Абсолютно, говорит, был я вчера невменяем.

При слове этом перед Бехтеревым явственно встало лицо старика, от которого они ехали, и, вежливо улыбнувшись рассказанному, он тут же сказал без перехода:

— А старика этого жаль, правда? Симпатичный и полностью ведь в здравом уме.

— Кроме единственного пункта, — откликнулся Балинский задумчиво. И, оживившись сразу же повернул лицо к собеседнику: — Я сейчас, знаете ли подумал вдруг, что библейское «прости им, Господи ибо не ведают, что творят» — это ведь о вменяемости, в сущности, а божий суд — он и есть на этот, в частности, предмет освидетельствование. Не правда ли?

— Замечательно точно, — Бехтерев всю жизнь радовался любым находкам, — хорошо бы это где-нибудь в статье упомянуть. Отчего вы ничего не пишете совсем?

Балинский махнул рукой беспечно, и в ответе его явно не было скрытого укора непрерывно пишущему и публикующемуся повсюду ученику:

- Кому это все нужно, в сущности? Пиши не пиши, все равно ведь после нас напишут лучше и полней. Я приехал, однако же, благодарю вас. До завтра. За час до Медицинского совета встретимся и напишем, хорошо?

- До свидания, хорошо, я все вчерне приготовлю, - Бехтерев, почтительно сняв шляпу, стоял у коляски, провожая глазами учителя, почти бегущего от ворот по двору. Балинский шел размашисто и твердо, но что-то чуть выходящее уже из нормы, что-то неуловимо болезненное, еще чрезвычайно далекое от распознавания, интуиции только еле поддающееся ощутил вдруг невропатолог Бехтерев в его походке и подумал, гоня от себя догадку эту, что уже тлеет какой-то скрытый до поры процесс. И не ошибся, к сожалению. Спустя год стало страшно собственной пронизательности, будто именно она явилась толчком стремительно пробудившейся болезни: Балинский слег с параличом обеих ног и более уже не вставал до смерти. Сам себе сочинил незадолго до кончины могильную надпись: «Слуга и друг больных рассудком». Отцом русской психиатрии коллеги единодушно назвали его вскоре после смерти, таковым он и остался в истории медицины — человек, ничего за свой век не написавший.

Кроме этой, на всю жизнь благодаря Балинскому памятной экспертизы, Бехтерев провел их около тысячи. В сущности, это был еще один огромный



курс психиатрии, читаемый заочно людям, которые очень в ней нуждались. Ибо не только конкретным торжеством человечности, милосердия и правосудия оборачивалось каждое такое освидетельствование, но и служило наглядным то уроком, то прямым пособием для коллег, разбросанных по стране и призываемых для судебно-медицинской консультации, а также для людей, чуждых медицине, но волей закона вынужденных заниматься такими экспертизами. При каждом губернаторе собиралось по делам об установлении опекунства и вообще по всяким казусам такого рода Особое присутствие, состоявшее из совершенно разных чиновных и доверенных лиц. Они вынуждены были в разрешении человеческой судьбы, запутанной психическими неполадками, руководствоваться только здравым смыслом, да плохо скрываемым полустрахом-полубрезгливостью при виде любого отступления от привычной нормы поведения, речи, психики.

А пользовались между тем законной возможностью ограничить права неудобного человека, а то и упечь его по возможности навсегда в дом призрения для душевнобольных люди разные и с разными целями. Приглашенный на один из психиатрических съездов юрист Кони рассказывал истории достаточно показательные. Так, некий коллежский регистратор потребовал однажды освидетельствовать раздражавшую его и надоевшую, очевидно, жену по той причине, что она «любит нравиться и кокетничать, довольно ленива, имеет привычку плакать, а став на молитву, молится беспорядочно и суетливо». Или ещё: преданные и любящие дети попросили доверить им опеку над матерью, которая несомненно больна, ибо «живет со своим обожателем», и «бедные сироты боятся умаления доходов от содержимых матерью портерной и публичного дома».

Бехтеревские экспертизы были подробны, глубоки и тщательны. Поэтому, быть может, восхищаясь многотомной и многолетней экспертизой русского общества, которую вел, в сущности, Достоевский, нашел Бехтерев точнейшие о нем слова, обозначив беспромахно главные достоинства великого своего коллеги. Ему довелось как-то читать лекцию о Достоевском на публичных благотворительных чтениях, и он сполна воздал должное писателю — психологу и психиатру. Бехтерев говорил о проникновенности и пронизательности, граничащих с ясновидением и пророчеством, и первый, кажется, отметил глубочайшую и достоверную черту в характере большинства его героев: следование обуревающей идее. Идее, которая охватывает человека всего, целиком, как пламя — пролитый керосин, и все поступки его, все помыслы и слова оказываются подчинены ей единственной, уже не контролируемой ни разумом, ни сознанием. Паранойя? Да, у многих похоже на случаи, встречаемые в клинике. Но дело-то как раз в том и состоит, что Достоевский «показал воочию всем, что душевнобольные и вообще ненормальные люди не являются только затворниками домов для душевнобольных, но и типами, творящими обиходную жизнь вместе с другими душевноздоровыми лицами... Из произведений Достоевского для

всех стало ясно, что душевное здоровье и душевная болезнь в жизни так тесно сплетаются между собой, что представляется невозможным одну обособить от другой, и даже часто нельзя определить в жизни границы душевного здоровья и болезни».

Бехтереву, однако, непрерывно приходилось определять эти границы то для оправдания и излечения по возможности человека действительно больного, то для воздаяния полной мерой негодяю, убийце или растлителю, чья вполне здоровая безнравственность так выпирала из средней нормы, что могла казаться болезнью, понижающей степень вины.

Второй съезд отечественных психиатров назначен был в Киеве и состоялся в сентябре пятого года, в тот короткий промежуток между бесславной войной и первой революцией, когда все бурлило глухими еще подземными раскатами и полицейские наблюдатели появлялись повсюду, где собиралась хотя бы небольшая группа людей.

Вечер накануне съезда Бехтерев провел у Сикорского. Профессор Киевского университета, автор многих статей и книг, весьма уважаемый в городе человек, Сикорский был тем не менее постоянно недоволен и раздражен. Крупного исследователя явно уже не получилось из него, и тот апломб и притязательность, что с молодости органично сопутствовали его очевидным способностям, превратились с годами в уксус и желчь. Сам он, естественно, не замечал печального брожения этого, а сузившийся круг приятелей легко относил за счет их собственного потускнения. Расцветал он только в редкие часы, когда показывал кому-либо огромную, и благодаря отдельным книгам уникальную свою библиотеку. Он накопил собрание книг, принадлежащих перу не просто графоманов, но с очевидностью больных, психопатов, и даже статью об это написал, пытаясь ввести в психиатрию понятие о невыделенной до сих пор болезни интеллекта – идеофрении. По его наблюдениям, это был своеобразный психопатический характер разума, проявляющийся в бредовых идеях и умозаключениях.

В его коллекции была, например, книга, начинающаяся с заявления о том, что «автор предполагает говорить: о мировом двигателе, о теории и действии гомеопатических лекарств, о теории холеры, о причине роста стеблей кверху, а корней книзу, о суточном периодическом видоизменении земного шара, о полете птиц и плавании рыб».

Автор другого исследования открыл, что Библию надо не читать, а видеть, ибо слово «видеть» повторяется в ней 2500 раз, а «читать» — всего 55. Кроме того, для полного уловления смысла некоторые страницы он рекомендовал читать не слово за словом, а ходом шахматного коня, другие же — снизу вверх и справа налево. Открывающийся при таком чтении новый смысл представлялся автору идеи полным глубочайших откровений.

Однако же интересно и уже для личности Сикорского более важно, чем для объектов его внимания, что в статье своей о такой интеллектуальной дегенерации он смело присоединил к авторам книг своей коллекции также всех приверженцев декаденства и символизма в современной ему литературе. И не стоит даже называть здесь имена замечательных поэтов, которые попадали, таким образом, в его рубрику предполагающейся душевной болезни. А он писал, что все произведения, могущие быть причисленными к этим течениям в искусстве, «растворяются в здоровой жизни людей, сплетаются с ее тончайшими ветвями и портят психическую жизнь так же, как заразы и худосочия портят и разъедают здоровый организм».

Бехтерева неприятно поразила эта готовность старого и уважаемого коллеги огульно отнести к патологии все, что лежит вне круга понимаемого им, а главное — вне привычного круга, но он был гостем и удержал недоуменные возражающие слова. Тем более что Сикорский не сомневался нисколько, что в ближайшее время предложение его с благодарностью будет принято психиатрами страны. Забегая вперед, нельзя не сказать к чести врачей, что всерьез эту его идею, пахнувшую желчью и мизантропией, они даже не обсуждали.

Сикорский как один из организаторов съезда, как один из организаторов союза психиатров, как почтенный и заслуженный деятель, имеющий право отеческого увещевания, сказал Бехтереву, вскользь, но внятно, что уважаемому столичному академику никто не осмелится, конечно, оговаривать содержание вступительного доклада, но крайне, крайне желательно, чтобы доклад этот политически оказался лоялен. Бехтерев согласился вежливо, заверив, что все будет хорошо и раздражать никого не будет. И поторопился уйти в гостиницу со смешанным чувством жалости, снисхождения, отчуждения. И омерзения легкого, и стыда, неизвестно почему возникшего стыда, что таким некрупным оказался с возрастом былой кумир. Да и хотелось побыть немного одному, а потом и отоспаться по возможности. Предстояло открытие съезда.

Бехтерев говорил на нем о личности. Об условиях ее развития и здоровья. Неторопливо и веско, будто не зная (и не желая знать), что в зале непременно сидит полицейский наблюдатель, Бехтерев выдвигал психологически обоснованное, убедительное и страшное обвинение: российская казенная школа — нарочитое создание охранительной политики режима, а самый духовный климат страны губителен для существования полноценного человека.

Начал он, впрочем, с констатации общих и безусловных:

«... Прогресс народа, его цивилизация и культура зависят от степени развития личностей, его составляющих... Какую бы отрасль труда мы ни

взяли, развитая деятельная личность выдвигает в ней новые планы и новые горизонты, тогда как пассивные лица, выросшие в условиях рабства, способны лишь к повторению и подражанию».

Что же происходит в России, только что так позорно обнажившей свою внутреннюю неразбериху и немощь? «Внешняя сила народа питается из источника той духовной силы, которую образуют личности, его составляющие. Если личность опутана бесправием, как тиной, если таким образом самый источник духовной силы народа засоряется, то можно ли говорить о силе народа, о его мощи?» А в России «личность задавливается еще при самом зачатке своего развития в школе, дающей ей неподходящую духовную пищу вместе с тяжелым нравственным гнетом, уничтожающим в ней всякую самостоятельность; она задавливается в семье, где господствуют и пользуются покровительством закона патриархальные нравы и обычаи; она систематически задавливается даже там, где государство непосредственно опирается на ее силу и мощь...» А вместе с тем «не переполнены ли наши тюрьмы лицами, которые повинны разве лишь в том, что, желая блага родине, они были провозвестниками новых идей и иных порядков в нашей стране»?!

В зале шумно зашевелились, услышав недопустимые политические высказывания. А Бехтерев опять вплотную перешел к школе.

«...Более заботятся о загромождении головы знаниями, подчас совершенно ненужными, при более или менее пассивном отношении к этим знаниям, нежели о развитии критики и самостоятельного мышления, которые составляют истинный залог самостоятельного мышления будущей личности... Можно ли после этого удивляться той поразительной легковёрности, которая свойственна темным массам народа и благодаря которой легко прививаются в его среде самые уродливые взгляды и учения религиозного и социального характера. Развиваясь, благодаря сужению умственного кругозора и известному легковёрию, свойственному всякой недоразвитой личности...»

Сикорский поймал в зале чей-то взгляд, пожал плечами бессильно, показывая свою осуждающую непричастность, и долгим тяжелым взором посмотрел в сторону Бехтерева. А Бехтерев уже менял тему.

Теперь он говорил об алкоголизме, этом застарелом и страшном зле, перечисляя меры борьбы с ним, и о том также, что «борьба за свободу личности является в то же время и борьбой за правильное и здоровое ее развитие, а права личности есть показатель ее развития. Что же после всего этого нам остается сказать по отношению к личности русского народа — личности, которая систематически угнетается в семье и в школе, которая опутывается повсюду рутиной и которая задыхается в тисках формализма и бесправия, как в душной тюремной келье, лишенная света и воздуха?»

И закончил строчками Лермонтова: «Отворите мне темницу, дайте мне сиянье дня», — и зал взорвался аплодисментами, и все кинулись к нему и грузного, тяжелого, неудобного вынесли из зала на руках. \_ А навстречу уже спешил вызванный наряд полиции, и съезд прервал временно свою работу. Сикорский, ядовито улыбаясь, благодарил Бехтерева за услугу, оказанную психиатрии. Бехтерев молодо и насмешливо махнул рукой.

Однако интересно и важно — в этом разобрались постепенно, что поведение академика, целиком поглощенного наукой, вовсе не было ни сознательным проявлением деятельной гражданственной скорби («гражданского озноба» по выражению Глеба Успенского), ни отвагой политического борца, ни демагогией краснобая на злобу дня. Это было проявлением поразительного и высокого свойства разума и характера: безразличием врача-мыслителя к условностям общества и момента. Профессиональное отношение к ситуации, как врача к пациенту: нет запретных и опасных тем, если речь идет о здоровье. Он и в этой речи своими замечательными словами нашел для выражения взгляда на такие вещи: «Наука должна открывать и говорить только истины, а никакая истина не может быть настоящей, если она искусственно подтягивается под какую-либо систему, под какой-либо раз данный шаблон или если она заранее имеет определенное предназначение.

И еще попутно высветилась в его выступлении одна существенная чисто научная идея, которую и десятки лет спустя психологи обсуждают как коренную для развития личности, а назвал ее одним из первых (если вообще не первый) Бехтерев. Как всегда походя, щедро и невзначай. Перебрав различные определения личности, даваемые психологами его времени, он сказал, что не только и не столько память, характер, ум, эмоции, способности и другие грани создают в соединении личность, но главное — направленность ее, устремленность и нацеленность — тот органический стержень, вокруг которого собираются в неповторимый ансамбль все остальные особенности человека.

Многое бы можно назвать, отвлекись мы специально для обсуждения вклада Бехтерева в изучение личности (диссертация даже написана и защищена специально на эту тему), но среди всего сделанного им в этой области одну линию непременно стоит вспомнить. В середине нашего века психологи мира оживленно принялись обсуждать проблему воздействия на отдельную личность коллективного мнения, общей идеи, группового внушения. Поставлены были несколькими психологами (а потом во множестве лабораторий повторены) удивительные в простоте своей эксперименты: группа заранее подготовленных помощников психолога навязывала одинокому испытуемому (не знающему, что его товарищи по эксперименту — подсадные утки) заведомо неправильное решение разных предлагаемых задач. Воочию видел (или слышал) человек одно, а говорил под давлением единодушного мнения окружающих (подтасованного мнения, но он-то не

знал) совсем другое. Опыты такие, развиваясь и усложняясь, облетели весь мир, оказавшись удивительно ярким проявителем разных граней и качеств личности. И никто, ни единая душа из обсуждавших эти эксперименты, из восхвалявших познавательную их ценность для понимания личности, не упомянул, что программа таких именно опытов предложена была покойным Бехтеревым в девятнадцатом еще году. Целеустремленно и упрямо ища путей к познанию человека, он уже додумался до экспериментов такого рода, уже описал приблизительный их характер, уже предложил, как всегда, идею и маршрут. Только не успел осуществить. Как и многое, многое другое.

Очень тянет пересказывать анекдоты. Их существовало немало вокруг громкого имени Бехтерева. Да и какая это вообще знаменитость, если нет о нем потешных историй, и как может не порождать их любой углубленный в размышления человек. Рассеянность Бехтерева была на нормальном, хрестоматийном уже для загруженного профессора уровне. Услышав, например, входной звонок, он мог сам пойти открывать дверь, но уже подойдя к двери, сказать вдруг сердечным своим врачебным голосом: «Алло, я слушаю». Коллега его вспоминает, как они шли однажды по двору, направляясь к пролетке, и Бехтерев с ловкостью, удивительной для его грузной фигуры, подхватил споткнувшегося мальчугана. Погладил его по голове и продолжал непрерываемый разговор. «Чей это мальчонка? — спросил спутник. «Не знаю», — отключенно ответил Бехтерев и какие-то следующие немедленно произнес слова, относящиеся к интересной теме их беседы. А мальчонка был его любимый младший сын.

У автора есть несколько писем от младшей дочери Бехтерева, она сейчас живет в Сан-Франциско и охотно откликнулась на просьбу ответить на вопросы и что-либо попутно вспомнить. Среди прочего она припомнила, как отец, живя на своей даче в Финляндии, не прекращал работать ни на минуту. Однако понимая необходимость моциона, ходил часами по дорожкам дачного полулеска-полупарка, вычитывая на ходу гранки очередных статей. А за ним преданной вереницей шли неторопливо и важно, не отвлекаясь на соблазн поноситься по травке и поиграть, двенадцать дворовых собак разных пород, характера и размера. Чувствуя в нем хозяина, они обожали его, и когда он останавливался на секунду, чтобы сделать нужную поправку, торжественно застывала вся разношерстная компания. Они трусили за ним, чуть приспустив морды, а на остановке поднимали их и бдительно смотрели на него. Зрелище это всегда было театром для домашних.

На столетнем его памяти юбилейном заседании один профессор рассказывал, как ему, тогда еще мальчишке-врачу, Бехтерев позвонил вдруг в три часа ночи, чтобы срочно поделиться мыслями о завтрашней предстоящей работе. «Попробовал бы я так вот позвонить ночью своему нынешнему палатному ординатору», — закончил профессор под сочувственный понимающий смех коллег.

Истории подобного рода — не только благодатный и приятный отдых посреди авторского тщания передать величие научных трудов героя. Нет, у них еще есть чрезвычайно важное назначение: по возможности очеловечить плоский хрестоматийный образ, писанный юбилейно-некрологическим суриком. Ибо любые человеческие черты, просто названные или описанные с помощью поступка, все равно не оживят в нашем неблагоприятном жанре строгий иконописный лик, годящийся для киота, а для чисто человечески понимания и расположения непригодный, как нни распинайся автор. Даже более того: чем больше превосходных черт его и деяний я приведу, тем отключенней и дальше окажется он от реального облика. Изыскивать же что-нибудь принижающе-очеловечивающее — страстишки некрупные, неблагоприятные наклонности или черты характера со слабинкой — дело тоже малообещающее, затасканное и скучное.

Я вижу Бехтерева высокой и цельной личностью, очень сильным и выносливым человеком, огромного таланта и увлеченности. Мне подскажут: непомерного был тщеславия и честолюбия. Но я на это отвечу вот что: во-первых, вполне померного ввиду его трудоспособности, таланта и успехов, во-вторых, тщеславие неотрывно от естественной жажды каждого состояться, воплотить свои потенции и способности, чаще всего оно — одна из пружин настойчивости и упорства, и нельзя при этом чью-то тонкую мысль не вспомнить, что скромность украшает только скромные дарования. Но еще и третья есть. В-третьих, по масштабам сделанного им — будь он поистине тщеславен и честолюбив — имели бы мы удовольствие уж по крайней мере читать о нем толстые юбилейные сборники. А в двух такого рода сборниках, к двум его юбилеям выпущенных, в самом начале только куцые статьи о нем, а дальше все по делу, о деле, для дела. А один свой юбилей он и вовсе отказался праздновать. Дел было много, невпроворот. А чувствовать было кому: почти все кафедры неврологии и психиатрии по всей стране, за исключением Москвы да еще нескольких городов небольших, занимали профессора чисто бехтеревской выучки, из-под его руки вышедшие. Их десятки, одних профессоров, составивших себе в науке имя и славу, оставивших собственные и неслабые порой следы.

В старинном присловье, говоримом в похвалу человеку, невредимо и сохранно прошедшему «огонь, воду, медные трубы и чертовы зубы», самая трудная Часть — третья. Испытание славой и успехами редко переносится бесследно. И многих, до обидного многих слава изменяла неузнаваемо. Очень твердой должна быть личность — не твердой даже, здесь другое какое-то уместно слово, и не знаю даже, есть ли оно одно. Тут и врожденное достоинство необходимо, и заведомая в себе уверенность, и умение в руках себя держать, и способность поглядеть на себя со стороны, и та высокая широта кругозора, что позволяет видеть скромность достигнутого на самом деле. И еще много чего всякого, что дано совсем не каждому и не любому

воспитанием дается, а уж к способностям и вообще, кажется, касательства не имеет.

Слава пришла к Бехтереву рано. Знали его все и всюду, всяких слов при встречах не жалели, оборачивались вслед, писали письма, упоминали ученики благодарственно в сотнях специальных статей. А он, к этой славе возносящей вполне осознанно и спокойно относясь, оставался самым собой настолько, что порой это казалось нарочитым и несколько неправдоподобным, неумело искусственным что ли. В двадцатых годах бегал (шестидесяти пяти лет от роду) наперегонки с любым попутчиком, если паровой трамвай, от института в город ходивший, был виден и собирался отойти. И еще можно всякого привести: как доступен был любому в любое время, как замашки сохранил студенческие той поры, когда каждый — «брат», как — что особенно настоящую высокую простоту подчеркивает — спокойно и резко обрывал все попытки фамильярности или вмешательства в свои дела, проистекавшие от обманчивой иллюзии, что приветливость и расположенность — от слабинки, в которую не грех ногой посунуться.

Не могу отказаться от одной забавной детали, сообщенной мне профессором Ярмоленко, сотрудницей Бехтерева в течение последних его лет. В дни зарплаты, сказала она, за Бехтеревым очень часто бегала девочка из бухгалтерии, умоляя выбрать время и зайти погасить долг, потому что день отчетный. Он обычно за время между двумя зарплатами все, что ему причиталось, раздавал просившим по записочкам в бухгалтерию с просьбой числить за ним. Это могли быть деньги на прибор, который срочно был нужен, а институт не покупал, или на летний отдых, или не хватило дожить, или срочный расход на что-нибудь - причины были самые разные. Ловили в коридоре шефа, шеф невнимательно выслушивал, и случаев отказа не было. Когда сумма, выданная по таким запискам, чуть превышала то, что директору причиталось, бухгалтер переставал платить, и — вот чудо — число просителей сразу уменьшалось.

Но к чему автор завел о славе? Может быть, Бехтерев ее не замечал? О, замечал прекрасно и широчайшим образом пользовался ей. Пользовался он ей как рычагом во всех местах, где что-то нужно было и можно было подтолкнуть для дела. Выражаясь языком сегодняшним, был он фантастически «пробивной мужик». Поговаривали даже о гипнотических его ухищрениях, ибо ничем иначе тот подвиг организации и устройства, который совершил он в начале века, было бы совершенно немыслимо объяснить: любой ведь почин исчезал, как вода в песке, в столах чиновников и столоначальников. Бехтеревский почин был грандиозным, но без участия самого Бехтерева не дождалась бы до успеха чисто учредительная часть его затеи.



В самое предгрозовое время революции пятого года скончался вдруг немолодой уже начальник Военно-медицинской академии. Все последние дни он неотрывно и печально смотрел из окна своей директорской квартиры на шумные митингующие толпы. И осталась академия без начальника в дни, когда позарез нужна была твердая рука, голова ясная и умение выбрать курс, наиболее безопасный для прославленного учебного заведения, захлестнутого небывалой бурей.

И выпало возглавлять академию — по голосованию совета профессоров — Бехтереву. Он эту трудную честь принял, ни минуты не колеблясь. И выполнил свою миссию с таким блеском, что позднее, как стихли главные раскаты волнений и снова началась учебная жизнь, специально собравшийся опять совет профессоров выразил ему особую признательность. «За то, что в самое тяжелое время он принял на себя управление академией, и своим тактом и энергией оградил академию от могущих быть весьма тяжелых последствий как для учащихся, так и для самой академии». Руководствуясь не уставом и не инструкцией, а собственной интуицией и умом, он то добивался снятия казачьих разъездов на прилегающих улицах, то ухитрялся успокоить гигантскую студенческую толпу, требующую чего-то для нее самой мало определенного, то наотрез отказывался читать лекцию слушателям, явившимся на нее вопреки объявленной общей забастовке. И ежедневно бывал в студенческих общежитиях, постоянно, таким образом, находясь полностью и досконально в курсе дел и течения событий. И по организованному им ходатайству удалось принять обратно в академию студентов, ранее отчисленных из нее за политические проступки.

Тут, забегаая вперед немного, просто необходимо упомянуть, что и впоследствии подпись его значилась первой или одной из первых под самыми различными ходатайствами, коллективными просьбами и письмами, направленность которых всегда была едина и определена. Вот, к примеру, подписанное им постановление совета профессоров Женского медицинского института, где он уже давно преподавал: «Совет не может и не имеет нравственного права препятствовать митингам в стенах института. Митинги являются назревшей потребностью населения... Подавление митингов вооруженною силою Совет считает преступным. Вместе с тем Совет высказывает свое твердое убеждение, что единственным средством умиротворения страны и тем самым высшей школы является немедленное признание основных прав гражданина при условии неприкосновенности личности и жилища и созыва законодательного собрания народных представителей, избранных на основе всеобщего избирательного права».

Или вот еще — только из тех бумаг, копии которых сохранились в бехтеревском архиве. Два студента, состоявшие в какой-то боевой организации, собирались с оружием в руках похитить деньги для нужд этой организации, но были задержаны на месте еще только намечавшегося

покушения. Их предали суду по статье, чреватой смертной казнью. В академии немедленно возникла специальная комиссия профессоров, во главе которой снова Бехтерев. Последовало убедительное ходатайство от имени профессоров академии. Вот его основная часть: «...Принимая во внимание: 1) что в данном случае дело идет о лицах молодого возраста, болезненно восприимчивого по обстоятельствам настоящего тяжелого времени ко всем вообще крайним политическим учениям; 2) что по отзывам инспекции оба студента в бытность их студентами в академии ни в чем предосудительном в делах академии замечены не были; и 3) что оба они по своему возрасту не представляют еще собою вполне сложившиеся личности, могущие критически и с полной обдуманностью руководить своими действиями и поступками, конференция академии ходатайствует о принятии мер к тому, чтобы обвиняемые не подверглись каре, превышающей меру содеянного им, и по возможности - смягчения их участи...»

И студенты эти были спасены. Можно привести еще другие примеры, но и этих двух вполне, мне кажется, достаточно для прояснения общественного лица Бехтерева в те далеко непростые годы. Но вернемся к девятьсот пятому.

Возглавлять академию, в которой возобновились занятия, оставаться и далее ее начальником предложено было академику Бехтереву, столь прекрасно проявившему себя. На этом настаивали коллеги всех чинов и рангов, этого требовали и просили студенты, с этим готовно соглашался сам военный министр.

Венец и мыслимый предел карьеры — начальствование одним из лучших в стране высшим учебным заведением. Какой истинный честолобец колебался бы хоть одну минуту?

Бехтерев отказывается без раздумий и наотрез. Но почему, Владимир Михайлович? Вы говорите, что не с руки вам разливанный поток всяческих административно-чиновничьих дел, но ведь только что вы блестяще и легко справлялись с ними. Вы говорите, что планы у вас иные, но что может быть грандиознее таких вот притом сразу реализующихся планов?

Нет, у него — иные.

Тогда о них знали только близкие, очень доверенные ученики. Спустя два года о них узнали все. Бехтерев оставался верен мечте — идее, некогда насквозь и на всю жизнь, оказывается, пронзившей и поглотившей его. Мечте о цельном познании человека.

Один из учеников и коллег Бехтерева сказал однажды, что такого человека надо не как личность обсуждать, а как удивительное явление природы. Сейчас при взгляде назад из последней четверти века в его начало видится отчетливо и ясно правота образа этого, употребленного некогда из любви и

уважения, но точного. Так, многие из идей Бехтерева вдруг оказались провидческими, а многие из поставленных им задач и целей — недостижимыми в его эпоху, но чрезвычайно существенными для всего столетия в целом. Среди них далеко не последнее место занимает его стремление постичь и познать человека во всей совокупности умственных и душевных качеств (ныне это называется комплексным подходом). Древнее сократовское «познай самого себя» стало насущным и злободневным лозунгом современной науки, но в начале столетия преждевременная явно идея эта — о необходимости познать человеческую личность — Бехтерева обуревала как неутолимая острая жажда. И он предпринял для этого побехтеревски крупные шаги.

Лет десять назад поднимался на газетных страницах разговор о необходимости учредить Институт человека для глубокого и специального изучения всяческих свойств и качеств личности. Принявший в этом разговоре участие очень пожилой ученик Бехтерева ныне покойный уже профессор Мясищев привел забавный перечень того, чем занимаются ныне институты, вроде бы причастные теме. Один, например, детальнейше исследует мозг, но никак не привязываясь к психике, а другой всецело занят психологией, но безо всякого интереса к тому, что за мозговые процессы лежат или могут лежать в основе изучаемых явлений. А третий — замечательный научный институт, посвященный именно высшей нервной деятельности, — занят всем, кроме человека. Напомнив о том, что и недавний Международный конгресс по психологии показал жгучую необходимость комплексно взяться за человеческую личность, автор и другое напомнил: эту идею уже ведь осуществлял Бехтерев. В самом начале века.

И невольно приходит в голову мысль, в которой, может быть, заключена одна из причин того, что периодически забывался Бехтерев, того, что разлетались под влиянием каких-то неведомых центробежных сил создававшиеся им учреждения и институты (он открывал их много, ибо верил в учреждения и институты), того, наконец, что неясно порой становится, что за рок висел надо всем, чего он добивался ценой невероятных усилий.

А не выдвигал ли он задачи и цели, кои времени еще были не по плечу? Не ставил ли путеводные вехи на таком расстоянии, что уже не видели их его современники? Не сродни ли его замах и его горизонт тем его чисто научным идеям, которые сейчас только осознались, когда к ним (твердо, навсегда уже и глубоко, ему не в пример, но шаг за шагом) подошли только в наши годы? От того и рассыпалось почти все, организованное им. А один был институт — уникальный. Настоящий и подлинный. Институт человека.

Бехтерев задумал институт человека давно, а где-то примерно году в девятьсот третьем идею эту огласил среди друзей. И статью написал о том, как именно может воплотиться в жизнь это заманчивое «познать человека».

События начались удивительные. Множество людей стали жертвовать деньги на этот сугубо научный, почти неведомого назначения институт. Одни давали малые посильные деньги, иные — целый капитал. Было огромное анонимное пожертвование, на него построили целую клинику: это от какого-то пациента, пожелавшего остаться неизвестным. Были и еще большие суммы — одно тоже состояние прямо, и притом немалое — с обозначенной ясно целью: на постройку клиники для эпилептиков. Доходы от многочисленных лекций в ту же поступали казну, собственных же на это траченных денег Бехтерев просто и не считал.

Был высочайше утвержден устав института, названного Психоневрологическим, года три ушло на его блуждания по инстанциям; появилась и земля, на которой предстояло вырасти зданию. Сохранилась фотография: Бехтерев в серой своей крылатке закладывает первый камень. Место было предоставлено из царских, кабинетских так называемых земель, и не передать словами, сколько потратилось основателем института сил и времени, чтобы, проблуждав по длинной чиновничьей галерее, на чисто формальное уже утверждение царя пошла бумага о пожаловании земли.

Походило это на взятие крепости с многочисленными бастионами и редутами. Бехтерев потом вспоминал, чего стоили все эти преграды, только они уже были в прошлом, и вспоминались потому с усмешкой. Институт был разрешен и начал строиться.

В феврале девятьсот восьмого года, открывая учебные курсы Психоневрологического института, Бехтерев говорил взволнованно обо всем, что связывал он со своим детищем.

«Как это ни печально, — говорил он, — но следует отметить парадоксальный факт, что в нашем высшем образовании сам человек остается как бы забытым. Все наши высшие школы преследуют большей частью утилитарные или профессиональные задачи. Они готовят юристов, математиков, естественников, врачей, архитекторов, техников, путейцев и тому подобное. Но при этом упущено из виду, что впереди всего этого должен быть поставлен сам человек; и что для государства и общества кроме профессиональных деятелей нужны еще лица, которые понимали бы, что такое человек, как и по каким законам развивается его психика, как ее оберегать от ненормальных отклонений в этом развитии, как лучше использовать школьный возраст человека для его образования, как лучше направить его воспитание, как следует ограждать сложившуюся личность от упадка интеллекта и нравственности, какими мерами следует предупреждать

вырождение населения, какими общественными установлениями надлежит поддерживать самодеятельность личности, устраняя развитие пагубной в общественном смысле пассивности, какими способами государство должно оберегать и гарантировать права личности, в чем должны заключаться разумные меры борьбы с преступностью в населении, какое значение имеют идеалы в обществе, как и по каким законам развивается массовое движение умов и т. п. ... Заполнить этот важный пробел... и составляет ближайшую цель Психоневрологического института...

...Познать человека в его высших проявлениях ума, чувства и воли, в его идеалах истины, добра и красоты для того, чтобы отделить вечное от бренного, доброе от дурного, изящное от грубого, познать дитя в его первых проявлениях привязанности к матери, к семье, чтобы дать ему все, чего жаждет его младенческая душа; познать юношу в его стремлениях к свету и правде, чтобы помочь ему в создании нравственных идеалов; познать сердце человека в его порывах любви, чтобы направить эту любовь на все человечество; познать обездоленного бедняка, толкаемого судьбою на путь преступления, чтобы предотвратить последнее путем улучшения его быта и перевоспитания; познать и изучить душевнобольного, чтобы облегчить его страдания и, где можно, излечить — не значит ли это разрешить больные и самые жгучие вопросы нашей общественной жизни?»

Здания Психоневрологического института выросли на далекой пустоши за Невской заставой. Вот как рекомендовалось добираться до него (это — из билета, приглашающего на закладку первого камня): «Электрическими трамваями до Николаевского вокзала, от Николаевского вокзала паровым трамваем до церкви Божией матери Всех скорбящих (третий разъезд), далее Смоляною улицей и Первым Лучом. Или по Неве (час езды финляндским пароходством)».

Учиться сюда валом повалили молодые, Дело заключалось не только — да в те годы увлечения техникой и не столько — в подлинно широкой гуманитарной образованности, явственно обещаемой содержанием учебной программы, сколько в том, что институт еще в одном отношении был необычен и уникален для России. Сюда принимались слушатели независимо от пола (надо ли подчеркивать междометиями эту необычную для России того времени особенность?!), вероисповедания (и никакой процентной нормы), наличия или отсутствия справки о благонадежности (время, напоминая, — начало века. Всюду сотни выгнанных, отчисленных, поднадзорных и сосланных).

Учеба здесь была платной, но для тех лишь, кто мог платить. Отбором занималось студенческое самоуправление — совет представителей более мелких объединений — землячеств. Деньги на оплату учебы тем, кто сам не был в состоянии платить, собирались на благотворительных вечерах, лекциях

и концертах. Не было в столице знаменитости, хоть раз отказавшей студентам в выступлении на таком вечере. Но самоуправление это ведало не только помощью в оплате. Вот объявление так называемой столовой комиссии: «Как и в прошлом академическом году, беднейшие студенты института могут пользоваться в столовой бесплатными завтраками и обедами». Далее — куда приносить заявление вместе с опросным листом.

А всей научной жизнью института руководил совет профессоров во главе с президентом, при выборах которого царило такое единодушие, что хохот поднялся при напоминании, что голосование должно быть тайным. Кстати, это была единственная в институте, по настоянию президента Бехтерева, должность, не подлежащая оплате.

Институт стал подлинной и единственной в России вольной высшей школой. Открывавшиеся при нем клиники и лаборатории целиком предназначались одному-единственному научному направлению: познанию человека во всех его неисчислимых проявлениях нормы и патологии.

Только и теперь не к науке обратился Бехтерев, а в тяжелейшую ввязался борьбу за предоставление его студентам то отсрочки от воинской службы, то возможности проживать в столице (девушки-еврейки даже выправляли себе желтый билет профессиональной проститутки, идя, кроме всего прочего, на оскорбительный еженедельный осмотр у полицейского врача), то всяческих прав, предоставляемых выпускникам обычных институтов. Эта борьба оказалась самой тяжелой, ибо у вольной высшей школы незамедлительно объявились враги. И личные Бехтерева враги (почему уже столько лет больше всех надо этому непонятному человеку, а главное — почему это все ему так удастся?), и враги молодых смутьянов без различия лица и имени (выгнан — значит выгнан с волчьим билетом, нечего опять предоставлять ему возможность учиться) и все те, кто были по самому духу своему врагами, то есть противились всему, что необычно, что живо, что независимо и нарушает порядок.

Зато настоящие ученые за честь сочли работать в этом необычном институте, готовя слушателей непривычно широкого профиля. И если всюду мы избегали перечня фамилий соратников, коллег и учеников, даже в свою очередь прославленных, то здесь необходимо просто нескольких упомянуть, очень это нам сейчас же пригодится. Упомянуть хотя бы физиолога Введенского, психолога Лазурского, ботаника Комарова, зоопсихолога Вагнера, историка Тарле, социолога Ковалевского — это среди многих, многих других, почти столь же в истории науки уже известных.

А вот имени профессора Сонины мы не встретим нигде, даже в самом подробном перечне создателей российской науки. А между тем был профессор Сонин фигурой значительной и влиятельной. Это его

министерство народного просвещения уполномочило однажды решить судьбу нескольких сот человек, за которых хлопотал институт, чтобы получить отсрочку от несения рекрутской повинности. Такой замечательно нескрываемой враждой веет от его отзыва, что нельзя просто не привести отрывки из превосходного этого документа. Вот они:

«Из рассмотрения отдельных уставов высших учебных заведений можно убедиться, что характер высшего учебного заведения определяется двумя признаками: 1. Цензом преподавателей и 2. Цензом учащихся.

От преподавателей требуется обладание высшею ученою степенью, и им присваивается звание профессора. Между тем, по уставу Психоневрологического института (§ 13) во главе управления поставлен совет, состоящий из профессоров, но об образовательном цензе этих профессоров нет упоминания в уставе; неизвестно даже, каким порядком или по чьей милости можно получить звание профессора... Таким образом, устав создает категорию людей, именуемых неизвестно почему профессорами. В общежитии повышение титулов по требованию вежливости или иронии практикуется очень часто: так в Польше учитель гимназии обязательно именуется профессором, капитан - полковником, статский советник генералом и так далее; по уверению Марка Твена, в Америке в своей компании прислуга называет горничных и кухарок не иначе, как леди; на Садовой против Гостиного двора торгует губками грек Пугуниас, который на вывеске назван членом Парижской национальной академии; но то, что допустимо в общежитии или на вывеске и может вызвать только улыбку, совершенно неуместно в законе. Итак, первого признака высшего учебного заведения Психоневрологический институт не имеет, а этот признак может быть назван важнейшим...

Обращаясь ко второму признаку — цензу учащихся, мы и здесь встречаемся с крупным недоразумением... К слушанию курсов допускаются лица обоего пола, имеющие диплом об окончании средних учебных заведений». Но, однако же, торжествуя отмечает далее профессор Сонин, об окончании среднего учебного заведения выдаются аттестаты и свидетельства, что же это за новое слово — диплом?! И вообще — почему не обозначено, какие именно средние учебные заведения? Может быть, бывшие уездные училища? «Итак, — торжественно заключает Сонин, — по составу слушателей Психоневрологический институт не может быть признан высшим учебным заведением. Из изложенного вытекает, что ходатайство о предоставлении слушателям Психоневрологического института отсрочки по отбыванию воинской повинности должно быть отклонено».

Не правда ли, замечательный в своем роде документ?

И было бы все закончено после такого исчерпывающего отзыва, было бы все, к удовольствию всяких сониных, прекрасно, успокоительно и злорадственно, если бы всюду успевающий Бехтерев не держал в своих руках нити (сегодня и не вскроешь их, как ни ройся в архивных кладах) от других каких-то рычагов воздействия. Сонин это знал, между прочим: в самом начале отзыва своего он с возмущением отметил, что Бехтерев и его соратники, весь этот ненавистный ему союз уже «предпринял некоторые шаги, дабы добиться удовлетворения своего ходатайства несколько иным путем». Шаги эти, добавим кстати, увенчались полным успехом. И отсрочка была получена. За годы своего существования Психоневрологический институт дал России несколько тысяч образованных людей. А клиники его и лаборатории — множество фактов и экспериментов. Бехтереву удавалось вести институт через все подводные и явственные бури. До поры.

Как уже было сказано, кроме Москвы, да еще, пожалуй, двух-трех городов страны, повсюду кафедры психиатрии и кафедры невропатологии, а то и просто руководящие врачебные места в соответствующих больницах оказались заняты к двадцатым годам нашего века исключительно учениками Бехтерева. Они любили учителя ревниво, преданно и безраздельно. Было в его обращении с ними что-то очень поднимающее и самоутверждающее каждого ученика, многие вспоминали об этой именно черте его наставнического характера. Это было уважение человека, настолько одаренного и духовно богатого, что сама собой разумелась им в тоне и самом климате общения явственная надежда на любого ученика и вера в его возможности. Быто товарищество без фальши, коллегиальность без превосходства, демократичность без панибратства, И ровная, равно высокого и неизменного уровня работоспособность коренника, умно и настойчиво ведущего всю огромную упряжку коллег. Многие ученики впоследствии вспоминали об этом.

Мне кажется, что вся жизнь Бехтерева — от и до — возражение очень недоброй одной мысли Чехова. И в то же время — подтверждение другой. Много уже лет пожелтевшей от времени закладкой отмечено мной в книге воспоминаний о Чехове то место, где он высказал в беседе с Горьким некое краткое уничижительное обвинение, Горьким же досконально приведенное.

« — Странное существо — русский человек! - сказал однажды Чехов Горькому. — В нем, как в решете, ничего не задерживается. В юности он жадно наполняет душу всем, что под руку попало, а после тридцати лет в нем остается какой-то серый хлам. Чтобы хорошо жить, по-человечески — надо же работать! Работать с любовью, с верой. А у нас не умеют этого. Архитектор, выстроив два — три приличных дома, садится играть в карты, играет всю жизнь или же торчит за кулисами театра. Доктор, если он имеет практику, перестает следить за наукой, ничего, кроме «Новостей терапии», не читает и в сорок лет серьезно убежден, что все болезни — простудного



происхождения... Психология у них — собачья: бьют их — они тихонько повизгивают и прячутся по своим конурам, ласкают — они ложатся на спину, лапки кверху и виляют хвостиками...»

Чехов такие же самые по сути своей слова однажды и в письме своему корреспонденту (тоже, кстати, доктору) высказал, такую же печальную схему нарисовав:

«Пока это еще студентки и курсистки — это честный, хороший народ, это надежда наша, это будущее России, но стоит только студентам и курсисткам выйти самостоятельно на дорогу, стать взрослыми, как и надежда наша и будущее России обращается в дым, и остаются на фильтре одни доктора-дачевладельцы, несытые чиновники, ворующие инженеры... Я не верю в нашу интеллигенцию, лицемерную, фальшивую, истеричную, невоспитанную, ленивую, не верю даже, когда она страдает и жалуется, ибо ее притеснители выходят все из ее же недр».

А далее — сейчас же слова совсем иные:

«Я верю в отдельных людей, я вижу спасение в отдельных личностях, разбросанных по всей России там и сям — интеллигенты они или мужики — в них сила, хотя их мало... Но работа их видна; что бы там ни было, но наука все продвигается вперед и вперед, общественное самосознание нарастает, нравственные вопросы начинают приобретать беспокойный характер и т. д. и т. д. — и все это делается помимо прокуроров, инженеров, гувернеров, помимо интеллигенции в массе и не смотря ни на что».

Надежда, высказанная в этих безжалостных и в то же время оптимистических словах, — как же воплощена она оказалась в личности и работах Бехтерева! Неустанное и ровное горение его, усилия нескольких десятков лет реализовались в фундамент всех практически областей науки о мозге и поведении, получивших с той поры развитие и движение. А еще ввиду того, что и роль наш герой играл заметную, и тысячи учеников жадно ловили каждое его слово, зачастую чисто нравственный характер носившее, ввиду этого высокое влияние Бехтерева, как ни малонаучно это понятие, тоже никак не скинешь со счета в истории России тех лет.

Это, правда, отдельно бы следовало обсудить. Дело еще в том, что влияние таких людей всегда и непременно благотворно. Ибо столь велика и неприступна внутренняя свобода исследователя такого уровня и ранга, что не может она не воздействовать заражающе. В том, естественно, случае, если сам человек этот обладает неременной внутренней свободой, проявляющейся полной независимостью своего научного мышления.

Стремление разделить людей по клеточкам и типам всегда было неотъемлемо свойственно любому, кто присматривался к человечеству.

Ученым, систематизирующим мир, эта жажда особенно известна. А вот что до самих ученых — как бы привести в систему разнообразие их характеров, ухваток и методов?

В начале нашего века это попытался сделать известный химик Оствальд, автор на шумевшей книги «Великие люди». Он предложил делить ученых всего мира на две категории: классиков и романтиков и, пожалуй, убедительными иллюстрациями подтвердил правомерность такого рассечения ученого мира. Во всяком случае, пока ничего лучшего покуда никто не выдумал, хотя трудов написано достаточно: наука растет и сама давно уже стала объектом пристального изучения.

Вообще, это интересная книга, и многие могут найти в ней лично для себя то удовольствие (кроме познавательного), то утешение. Любопытна, например, такая авторитетная констатация: великие исследователи почти все были плохими учениками, потому что всегда и всюду «самые даровитые молодые люди сильнее всего сопротивлялись той форме умственного развития, которую пыталась навязать им школа».

Классики и романтики. Классик выбирает тему исследования как пожизненную цель. Уж во всяком случае на очень долгие, без заглядываний долгие годы. Он терпеливо и настойчиво пробивается вглубь проблемы, не отвлекается и не разбрасывается, роет глубочайшую (по мере способностей, разумеется), но почти без ответвлений штольню. Результат его поисков всегда очевиден, солиден, предопределяет сполна и точно, куда двинутся последователи. Классик основателен и нетороплив по самой сути своей исследовательской психологии. Узость фронта его наступления на задачу окупается глубиной проходки и скрупулезностью разработки штольни. Его ученики и продолжатели вынужденно довольствуются достигнутым уровнем.

Не оттого ли, кстати, невольно вспоминается здесь легкомысленный и мудрый чей-то парадокс, гласящий, что величие ученого часто точнее всего измеряется количеством лет, на которые он задержал развитие науки в своей области?

Как и всякая глубокая шутка, мысль эта не лишена отчасти справедливости, ибо еще многие годы именем первопроходца одергивают тех, кто утверждает (спервоначально интуитивно обычно, и тут он уязвим весьма), что с некоторых пор проходку надо бы вести иначе, копать глубже, а может быть, даже в другом направлении. Трудность положения таких спохватившихся состоит обычно в том, что у классика всегда находятся преданные ученики, которым не под силу бить скальную породу дальше, и потому они берут на себя функцию воспевателей пройденного и охранителей достигнутого.

Однако же это — лишь обидные последствия целенаправленной и богатырской работы классика. Ибо смело можно утверждать, что

стратегические, стержневые успехи познания достигаются классиками, героями долгой сосредоточенности и подвижнической преданности одной лишь облюбованной цели. Классик не спешит, писал Оствальд, публиковать результаты своих изысканий до тех пор, пока не уверен в стерильной их непогрешимости. Он только в целом, строго очерченном и глубоко продуманном виде соглашается предоставить обсуждению свою позицию, с которой отчетливо видно, куда он двинется дальше.

Ну а романтик, каков же, по Оствальду, он? Разбросанность — его удел.

«Романтик всегда страдает избытком мыслей, планов и возможностей и... прежде всего стремится освободиться от этого избытка, чтобы впустить другие идеи, уже ожидающие своей очереди».

Очень здесь хорошо это — «страдает избытком мыслей», неправда ли? Словом, романтик интенсивен и разбросан. Одержимость множеством идей, целей и проблем заставляет его уделять каждой слишком небольшое время, оттого и штольня у него не штольня, а только множество шурфов и зарубок оставляет он на обширном поле своей всегда вдохновенной деятельности (ибо ведь и разбросанность-то сама от неумного, вдохновенно рыскающего любопытства).

А ввиду неглубокости достигаемого — неглубокости, которая бесценна для тех, кто пойдет вслед, - романтик и забудется зато быстро по мере продвижения последователей вглубь. Очевидна неминуемость расплаты за недостаточную глубину. Вот какой именно расплаты: «Научные успехи романтиков теряют личный характер, становясь безымянной составной частью общего знания», несмотря на высокий талант ученого-романтика, ибо даже «если он сделал перворазрядные работы, то их результаты только облекаются в более безличную форму и продолжают влиять по многочисленным новым каналам».

Продолжают. Это верно и справедливо. Но – увы — уже без имени того, кто начал.

Оствальд вполне резонно, пожалуй, замечает, что чем моложе наука, тем необходимее ей романтики.

Не в точности ли о Бехтерева слова Оствальда о романтическом типе ученого?

И тут, кроме открытия множества новых горизонтов, еще одно благотворное следствие работы романтиков обойти никак нам нельзя. Классики приносят познанию пользу явную, ощутимую, заметную. Романтики — кроме того же рода пользы — благотворны еще одной неявной и трудно опознаваемой полезностью. В изобилии их идей, мыслей, разработок и починов

оказывается множество крохотных зарубок и поверхностных касаний, которые служат поколениям, идущим вслед, ньютоновым яблоком для глубокой новой темы, для маршрута, самому первопроходцу неясно, где зачатого, ибо помнит он обычно, как вспыхнуло в нем счастливое и плодотворное озарение, а в связи с чем, с какой мелочью и на чьем незапамятном наблюдении — бог весть. Тут забывчивость естественная, тут неблагодарность неосудимая, и, только восстанавливая цепочку исследований, пятясь мыслью, можно иногда наткнуться на тот легкий пируэт чужой мысли, который для последующего оказался исчезающе малым камушком, породившим лавину аналогий и размышлений. И тогда уже много лет спустя, выпуская солидную монографию, упоминает маститый исследователь (и то, если дотошен, добропорядочен и скрупулезен), что где-то у Бехтерева уже есть на эту тему набросок, мысль, наблюдение. Состоявшихся таких упоминаний — сотни, несостоявшихся по разным причинам — несчетно. Идеи Бехтерев разбрасывал легко, походя, играючи, и оттого они то вспоминались много позже, то вовсе не вспоминались. Иногда он без обиды и приоритетного гонора сам указывал сделанную зарубку, иногда она всплывала длительное время спустя.

Так, например, в области «мозг и слово» он был настолько впереди своего времени по прозрениям и идеям, что лишь сегодня по-настоящему осмысливается когда-то сказанное, будто невзначай оброненное им. Это именно он, ничем не выделяя заведомого первенства своего, написал, что «слово везде и всюду является звуковым или письменным знаком, замещающим собой предмет или явление», то есть совершенно точно определил речь как вторую сигнальную систему. Это было провидение поразительное, его времени еще как бы и ненужное, ибо только много позже разработки физиологов, психологов, философов привели к представлениям о том, что мозг моделирует мир и речь является инструментом моделирования. Бехтереву ясно виделось это несколько десятилетий назад.

Точно так же он первым негромко и совершенно верно, с полнотой понимания, поразившей исследователей, пришедших к этому лишь сегодня, обозначил роль и назначение лобных долей мозга. Он первым явственно увидел и понял, что животные без лобных долей «не оценивают нужным образом результаты своих действий, не устанавливают... соотношения между отпечатками новых внешних впечатлений и результатом прошлого опыта и... не направляют движений и действий сообразно личной пользе». Тысячи экспериментов, проведенных за последние десятилетия во множестве лабораторий, обобщение наблюдений психологов, врачей и хирургов привели именно к этому давнему бехтеревскому выводу.

Столь же яркий другой пример относится к первым годам столетия. Бехтерев заметил и точно описал, как стягивает на себя всю нервную энергию, как целиком занимает весь мозг сосредоточенность на каком-либо важном,

существенном в этот момент деле или отправления живого существа. Когда появились знаменитые ныне разработки физиолога Ухтомского, известные под названием доминанты, Бехтерев радостно и незамедлительно предоставил им место в сборниках и изданиях своего института, с удовольствием заметив вскользь и без тени претензии, что уже давно это явление отметил и наблюдал, хотя не столь глубоко, конечно, не столь пристально, не столь обоснованно, однако с пониманием сути и механизма, С прозрением, следовало бы добавить. Он двигался с некоторых пор по событиям и фактам работы нервной системы, стремясь — с сегодняшним чисто интересом — понять и охватить ее в целостности и совокупности, оставляя другим пробиваться в глубинное устройство и связи.

Именно ему первому принадлежит идея добавлять в алкоголь вещества, вызывающие рвоту и последующее отвращение. Все, что сделано с тех пор во всем мире для излечения алкоголиков и наркоманов, основано именно на этой идее, несмотря на многочисленную разность конкретных тонкостей способов и методик.

Мгновенный отклик (приуроченный, как в его жизни, к познанию мозга) рождала в нем вообще любая услышанная новинка. Так, например, узнав об открытии рентгеновских лучей, он немедленно предложил попробовать вводить в мозг вещества, непрозрачные для этих лучей, исследуя таким образом состояние мозга, выявляя опухоли, кровоизлияния, всяческие нарушения нормы. Подобного рода методических идей выдвинуто было им множество.

А в необъятной области коллективной психологии вообще невозможна тема без ссылки на его близкие к истине или ошибочные, но всегда высказанные соображения и мысли.

Обратимся теперь опять к прозорливым замечаниям Оствальда. Сам замечательный химик-исследователь, тонко и глубоко чувствуя самый дух своей науки, он без осуждения, с полным пониманием великой пользы романтиков для расширения фронта познания все же не мог упустить теневую сторону обсуждаемого типа ученого:

«Рядом с большими преимуществами, которые предоставляет романтическое дарование, для романтика существует весьма значительная опасность, что он удовлетворится таким решением проблемы, которое никакого решения собственно не представляет».

«Впрочем, — тут же спохватывается он, — можно с полным правом утверждать, что проблема никогда не исчерпывается вполне, так как позднейшее поколение всегда найдет, что в ней дополнить, и изменит то, что прежнее поколение считало достаточным для успокоения своей совести и любознательности».

Золотые слова. Особенно точны они в приложении к молодым, бурно развивающимся наукам, стократ точны в отношении всего круга наук, познающих мозг, — эту вершину эволюции, неизвестно еще сколько преград таящую в себе. В середине двадцатого века, более всех умудренного открытиями и разочарованиями, один из выдающихся физиков удивительно точно сказал: «Понимание атома — детская игра по сравнению с пониманием детской игры». А другой, будто добавляя и углубляя сказанное, о самом познании не без меланхолической печали заметил: «Все изучается лишь для того, чтобы снова стать непонятным или в лучшем случае потребовать исправления».

Так, быть может, преувеличил Оствальд? Все равно ведь неизбежны пересмотры и перестройки, и только там, где наука мертва, она незыблема. Может быть, и требовать не стоит лишнего проникновения вглубь и избыточного обоснования того, что все равно передовым отрядом следующих разнесется в пух и прах?

Нет, Оствальд все, все предусмотрел. Последующая часть той же цитаты (я сознательно разорвал ее, что-бы обсудить полней) не оставляет никаких сомнений в том, что он хотел сказать. Да, всегда будут перестройки, были всегда и будут. «Но для романтика остается опасность, что он остановится на том, что не удовлетворит самых передовых его современников, чего классик никогда не допустит».

А не здесь ли именно вдруг счастливо натываемся мы на возможность объективно и беспристрастно, без малейшей кухонности и подглядывания в замочную скважину объяснить трагическое для русской науки той поры явление — безоговорочный и бескомпромиссный раздор между двумя великими современниками, замечательными исследователями мозга — Бехтеревым и Павловым? Очень важно попытаться понять отнюдь не творческое разъединение и вражду этих двух высокотворческих первопроходцев.

Они ведь и начинали вместе, и вместе в свою первую заграничную командировку отправлялись, и происхождения одинаково невысокого будучи, бедствовали одинаково спервоначалу, и одинаковую гордость чувствовали людей, пробившихся собственным трудом. И многотомник Бехтерева «Основы учения о функциях мозга» именно Павлов назвал энциклопедией о мозге, трудом единственным в мировой литературе, настольной книгой всякого натуралиста. Здесь обычно обрывают биографы обоих эту цитату из павловской рецензии, ибо дальше идут упреки и нарекания. А нам-то как раз они и интересны сейчас, ибо здесь — начало раздора, распустившегося махровым цветом. Павлов пишет то же, что еще когда-то Балинский: о скоропалительности выводов и суждений, о недостаточности глубоких проверок и перепроверок. Вот она — та разница в

исследовательских характерах, в самом подходе к проблеме, что качественно отличает классика от романтика, что разделила Павлова и Бехтерева куда более непроходимой стеной, чем упоминающаяся обычно причина: приоритет.

Была, впрочем и эта причина, и нельзя ее скинуть со счетов. В самом воздухе времени носилась в конце века идея о необходимости объективными, подлинно количественными методами исследовать психику людей и животных. Единственный прежний метод психологии — самонаблюдение — явно и несомненно устарел. Тысячи экспериментов, в основе которых лежало самонаблюдение, почти ничего не принесли для развития психологии как науки. Кроме того, самонаблюдение начисто не годилось при исследовании поведения животных, психики детей и душевнобольных. Бехтерев, первым сполна осознав это, яростно искал путей для обоснования и утверждения объективной, независимой от наблюдателя, подлинно научной психологии. Еще в самом начале века появились первые его статьи, ставшие вскоре трехтомником «Объективная психология» и оказавшие огромное определяющее влияние на развитие психологии во всем мире. Такого же пути искал в то время и американец Торндайк, с помощью специальных устройств изучавший поведение животных. Открытие (а точнее, осознание) метода условных рефлексов давало исследователям мощное оружие для объективного исследования психики людей и животных. Мы еще поговорим подробнее об этом, сейчас нам самое главное отметить, что методика эта равно применялась в лабораториях Павлова и Бехтерева, и нет нужды обсуждать правоту кого-либо одного из них в той тяжбе о первенстве, которой открывались с некоторых пор их книги. Нет нужды потому, главным образом, что Павлов изучал в начале века высшую нервную деятельность животных, а в бехтеревских лабораториях занимались только человеком.

Постепенно и незаметно сперва началась, но разрослась стремительно и неудержимо вражда двух ученых этих еще до открытия условных рефлексов, когда на любом почти научном заседании, где бы ни собирались психологи поговорить о насущных своих проблемах, Павлов с Бехтеревым схватывались с первых же минут. Спорили они по каждой почти из идей о назначении и работе различных отделов мозга. Приводили материалы экспериментов — каждый на собственную лабораторию опирался, придирчиво искали ошибки в самом проведении чужих экспериментов, жестоко оспаривали выводы. Но у каждого вдобавок свой был яркий и жестко сложившийся характер, и чисто научное разногласие их, малостью добытых данных лишь разогреваемое, привело с неумолимой естественностью к чисто личной неприязни и враждебности.

А пока предоставим слово хирургу Пуссепу, уделившему много места в своих небольших воспоминаниях этой печальной розни. Он описал ее с сожалеющей и исчерпывающей полнотой:

«Если делали доклады ученики Бехтерева, то Иван Петрович (Павлов. — И. Г.) всегда выступал против докладчика, но не всегда его возражения бывали успешны и часто носили личный характер. Если же выступали докладом ученики Ивана Петровича, то и Бехтерев находил нужным возражать, и также было видно, что свои возражения он направлял против Павлова...  
...Они не подавали друг другу руки и не разговаривали друг с другом...  
...Два великих ученых в своей научной деятельности, направленной к выяснению истины, не могли согласиться друг с другом по такому ничтожному, касалось бы, вопросу, как приоритет... Оба ученых дали миру много ценного в научном отношении, но, может быть, они дали бы еще больше при дружной работе. В Берне (на съезде физиологов в 1933 году. - И. Г.) при разговоре со мной Иван Петрович сказал: «Теперь только я почувствовал, насколько мне недостает клинической неврологической подготовки», - и тогда я подумал, что могли бы дать миру эти два великана, один физиолог, другой психиатр и невропатолог! Они дополняли бы друг друга, и, может быть, результаты работы были бы другие, в особенности, в области изучения психики человека».

Исчерпывающие слова. К сожалению, эту рознь так и не удалось им преодолеть. Ибо она куда глубже была, чем разногласие о первенстве, она все-таки и впрямь крылась, скорей всего, в прямой диаметральной двух сильных и ярких характеров: одного - стремящегося вглубь, другого — наступающего по фронту. Живое и печальное для истории науки несходство, перешедшее в чисто человеческую неприязнь. Время стерло эту вражду, и в истории наук о мозге они всюду стоят рядом.

У французских полицейских времен Реставрации была в ходу шутка, переводимая приблизительно так: «На каждого месье – свое досье». Ее могли бы с полным правом употреблять их русские коллеги в напряженные и хлопотливые для них первые годы двадцатого столетия.

До академика Бехтерева очередь дошла не скоро. И естественно: тайный советник, только-только что в трехсотлетие царствующего дома названный в юбилейном альбоме «гордостью русской науки», слишком далеко стоял от круга лиц, ежедневно интересующих охранку. Но очередь дошла и до него.

Когда товарищ министра внутренних дел запросил о нем сведения по ведомственным каналам всезнания о любом человеке в империи, первой откликнулась полиция Москвы.

Оказалось, что некий пристав Строев еще «сентября 4-го дня 1911 года» подал московскому градоначальнику рапорт о недопустимом выступлении академика Бехтерева на первом съезде русского союза психиатров и невропатологов. Это вообще был крайне возмутительный съезд. Выступавший одним из первых профессор-психиатр Сербский сказал вдруг,



что вряд ли настоящий съезд созван своевременно, ибо всюду нынче и во всем — кромешная ночь, в которой пугливо ходят люди среди свободно рыскающих зверей. Ибо, сказал он, принцип нестеснения царит нынче только в психиатрических больницах, а вокруг — насилие, подавление и гнет. И все же, сказал Сербский, съезд созван вполне своевременно, невзирая на существующую реальность, ибо гнилой пробкой не заткнуть течения жизни и науки. Минуют невзгоды, пройдут эти глупые случаи (два последних слова он сказал по-французски, и аудитория захохотала в голос, ибо замечательный образовался каламбур — фамилия министра народного просвещения) и только ярче возгорится истина. Закончил докладчик молитвой, которую пристав старательно записал:

Русь ты многострадальная,  
Была ты под гнетом татарским,  
Под произволом боярским и царским...  
Ты, Господи, не дай Руси погибнуть  
От лихих наемников.

Аудитория легкомысленно зарукоплескала, и пристав Строев встал и твердо потребовал у председателя немедленно закрыть собрание, ибо высказаны были суждения недопустимые. Председатель повиновался. В коридоре пристава окружила толпа протестующих, быстро поредевшая, когда он принялся спрашивать фамилии.

Вот только что нехорошо: через день всего съезд собрался опять — только в другом помещении. Благодаря снисхождению и попустительству каких-то влиятельных лиц, к которым эти докторишки имели доступ. Но неусыпный Строев неукоснительно присутствовал и здесь.

Председательствовал академик Бехтерев. Ему вовсе не пришло в голову, что память недавно убитого рукой злоумышленника статс-секретаря Столыпина следует почтить вставанием, и Строев не преминул отметить в своем рапорте, что это обстоятельство как нельзя лучше характеризует настоящий съезд.

После нескольких докладов, носивших, к удовлетворению пристава, «чисто деловой характер», было выступление Бехтерева на тему «О причинах самоубийства и возможной борьбе с ним». Все бы ничего было в этом сугубо научном докладе, если бы не заключительная его часть, которую даже «Русские ведомости», излагавшие содержание речей, благоразумно сократили, придав корректность, которой не было и в помине. Только никому еще не удавалось провести бдительного полицейского пристава, и крамольная эта последняя часть аккуратно оказалась в его рапорте. Приставу и слово — по справедливости:

«Одной из главных причин, влияющих на самоубийство, Бехтерев считает условия, в которые поставлена русская школа, выпускающая измученных неврастеников и толкающая их таким образом на самоубийство, порождая целую эпидемию таковых. Эти условия русской школы он называет мраком ночным, с которым надо бороться. Этот мрак, порождаемый темными силами власти, попирающими лучшие общественные и человеческие идеалы, не должен действовать угнетающе на юношество; нужно приучать его к тому, чтобы оно стойко переносило все невзгоды и не впадало в пессимизм. Надо развивать в юношестве оптимизм, веру и надежду на лучшее будущее. А это «лучшее будущее» в русской действительности должно наступить очень скоро. Кто колеблется, кто тяготится современными условиями русской действительности, тот не должен забывать того, что ненормальные условия порождают светлое будущее».

Звучали эти слова в те годы всем понятно и однозначно, и сомнений ни у кого из слушавшим не возникало ни единого в том, что именно предрекает Бехтерев в самое недалекое время.

В перерыве подтянутый и высокий пристав Строев, сделав предупреждение о новом роспуске съезда, твердо проложил себе путь через толпу восторженной молодежи, окружившей неблагоразумного академика. Глядя сверху вниз, почтительно, но неуклонно пристав обратился с категорической просьбой предоставить ему рукопись доклада на просмотр. На что низкорослый Бехтерев, надменно вздернув дремучую бороду, ответил категорическим отказом, мотивируя свою неотзывчивость единственностью экземпляра, предназначенного для печати. Рапорт пристава градоначальнику дышал благородным негодованием.

Копия этого рапорта лежала сейчас перед товарищем министра внутренних дел, и он неторопливо листал сведения о лезущем не в свои проблемы невропатологе и психиатре.

Как быстро двигались вы по жизни, господин Бехтерев! Профессор — в неполные двадцать семь, академик — в сорок два, кафедра в Военно-медицинской академии, кафедра в Женском медицинском институте, директор клиники, президент знаменитого института, огромная частная практика, сотни трудов, легенды по Петербургу и Москве, известность немислимая, ярчайшая — слава. Что же вам еще надо? Научные ваши достижения несомненны и великолепны, конечно, только наука ценна сама по себе в спокойные годы. В беспокойные важнее лояльность. А вы? Выступление ваше на съезде — возмутительное. Особенно учитывая громкость вашего голоса, которому так внимают. Следует быть достойным слугой царя и отечества, а не диагностировать державную систему невозмутимо, как посетителя-пациента. А что делается в вашем пресловутом институте?

Донесений об этом было предостаточно, ибо тому уже минуло несколько лет, как по личному распоряжению покойного министра внутренних дел Столыпина, чью память не догадался или не захотел почтить вставанием съезд психиатров, обращено было «серьезное внимание на освещение всего происходящего в Психоневрологическом институте». Распоряжение это было сделано не только вследствие поступавших сигналов, но и оттого, что выяснилась бесполезность запросов по этому поводу самого Бехтерева, поскольку «сведения президента совершенно не отвечают действительности».

Это у него еще давний, казанского времени отличный навык срабатывал: главное — вовремя и готовно предоставить начальству преданный ответ на запрос. В большинстве случаев этого бывало достаточно. Впоследствии только выяснилось: все участники огромной общестуденческой сходки пятикурсники — слушатели Бехтерева — аккуратно были обозначены в его специальной реляции по начальству как сидевшие в это как раз время на лекции по невропатологии. А то ведь выгнали бы, неровен час, жалко — уже пятый курс.

Оттого и выделено было несколько психологов в штатском, дабы осветить жизнь и дух Психоневрологического института. Особенно, естественно, его педагогического состава, ибо на овец заведомо не было никакой надежды, — может быть, хоть пастыри благоразумны?

Увы. Итог многочисленных донесений подведен был лаконичной записью, оказавшейся (ниже выяснится - почему) в особом журнале совета министров империи: «Совет профессоров и преподавателей института, всего в числе свыше 150 человек, отличается совершенно определенным противоправительственным направлением».

Аккуратно подчеркнутые, выделенные для удобства начальственного чтения отдельные строки рапортов и донесений, свидетельствовали с несомненностью, что там, где посев совершается людьми неблагонадежными, там и жатва — соответствующая вполне:

... В чайной института арестована нелегальная библиотека.

... Состоялся политический вечер памяти Льва Толстого.

... Нет ни одной партии, представители которой не свили бы себе гнездо сочувствующих в институте.

... Огромную студенческую сходку разгонял конный наряд, когда появившийся в своей генеральской форме академик Бехтерев потребовал убрать казаков.

... Обыск в одной из лабораторий института закончился арестом лиц, никакого отношения к учащимся не имевших.

И так далее. В обнаруженном несколько позднее в полицейских архивах «Деле академика Бехтерева» многое-множество подобных документов.

А тем временем он сам принял активное участие в деле государственной важности, его лично не касавшемся совершенно. Принял участие и загубил «полезнейшее» мероприятие.

В самом начале девятьсот одиннадцатого года в Киеве весьма успешно орудовала хорошо слаженная воровская шайка. Грабили магазины, частные дома, лавки, почерк во всех случаях был похожим, но поймать никого не удавалось. Потом полиция напала на следы шайки, случайно задержав известных ранее воров. Следы вели на окраину Киева, к дому некоей Чеберяк, но обыск ничего существенного не дал, хотя репутация хозяйки была чрезвычайно темной. Воры насторожились, подозревая, что кто-то выдал их или выдает, А тут произошла ссора хозяйского сына с его приятелем Андрюшей Ющинским, который тоже был причастен к делам шайки. Тринадцатилетний ученик пригготовительного класса духовного училища Ющинский использовался, очевидно, ворами как наводчик, или наблюдатель, или форточник (звали его во всяком случае домовым). Поссорившись, он пригрозил приятелю рассказать кому следует, что его мать торгует краденными вещами, которые доставляет ей шайка. Эти слова решили его судьбу: внезапно Андрей исчез. Двадцатого марта того же года в неглубокой глиняной пещере на участке полузаброшенной усадьбы был найден его труп. Тринадцатилетнему Андрею Ющинскому убийцы нанесли около пятидесяти колотых ран, и уже мертвого, как показала врачебная экспертиза, подбросили в пещеру.

Однако же когда начальник сыскной полиции города, проявляя незаурядные следовательские способности, начал было успешно распутывать нить злодейского этого убийства, кто-то далеко сверху вмешался в процесс следствия. Начальника сыскной полиции вдруг отстранили от дел, отдали под суд за очень давнишнее служебное упущение. Хотя суд оправдал его, прошло уже полтора месяца; всю раскручивался механизм совершенно иной версии: будто бы мальчик Андрей Ющинский был убит евреем Бейлисом с целью истечения крови, потребной для какого-то тайного ритуала.

Несколько лет спустя, когда после революций был открыт доступ к тайным архивам охранки и охотно заговорило вслух всяческое бывшее начальство, стала кристально ясной досконально известная ныне картина вдохновенного и одобренного свыше, чрезвычайно полезного по тем временам и оттого столь нашумевшего процесса Бейлиса. А непосредственно тогда все было неясно и непонятно, и кровавая легенда о ритуальном убийстве христианского мальчика зловеще взволновала всех. Во всем мире освещали газеты (с разных, естественно, позиций) это дело о ритуальном убийстве, и у

всех на устах было имя ученого эксперта, профессора-психиатра Сикорского, подтвердившего возможность такого убийства. Научные общества врачей многих городов страны слали свои возмущенные письма по поводу полной ненаучности экспертизы маститого ученого, но Бехтерева — он внимательно читал все публикации о процессе — ужасало другое в поведении его давнего друга. Он даже выписку сделал из статьи одного журналиста, ибо эта выписка содержала то же самое тягостное недоумение, что владело им самим в те дни: «Экспертиза, являясь сплошным недоразумением с научной точки зрения, дышит таким человеконенавистничеством, таким изуверством, что, право, трудно себе представить, как могут жить люди с такими речами на устах, с такими мыслями и чувствами в сердце».

Что это, думал Бехтерев, ранний старческий маразм? Но почему в такой именно форме? Сикорский, умнейший и проницательный, честный всегда и брезгливый ко всякой житейской грязи, он ведь теперь заодно с явственными мерзавцами, неужели он не видит этого и не чувствует?

И вдруг — среди ясного неба гром — приглашение академику Бехтереву срочно выехать в Киев, чтобы принять участие в новой психолого-психиатрической экспертизе.

Его отговаривали в эти дни все, кто знал о приглашении. Родственники, друзья, коллеги. Что-то явно не связанное с этим уголовным, отчетливо фальсифицированным делом носилось в воздухе, и опасность встать на пути кому-то заинтересованному в процессе и могущественному виделась всем неоспоримо. И каждый отговаривающий столь же ясно видел тщетность своих доброжелательных усилий. Бехтерев на то и был Бехтеревым, но вдобавок еще и помнил великолепно собственные ощущения во время Мултанского дела.

Сфабрикованный процесс провалился с треском и бесповоротно. Далеко не последнюю роль сыграла в этом провале исчерпывающая экспертиза известнейшего в стране психиатра. Экспертиза эта касалась и общего, и мелочей, которые начисто рушили впечатляющие доводы обвинения. Так, например, эксперт обвинения утверждал, что нанесенные в голову убитого тринадцать ран — число ритуальное, мистическое, неслучайное и весомо свидетельствующее о совершении изуверского религиозного обряда. И хотя никто из других экспертов не привел ни одного литературного источника о значимости именно числа тринадцать, но цифра эта завораживала и сеяла все же сомнения у присяжных. Бехтерев же, хоть это и не вполне входит в его функции, под гипноз предыдущих данных не попадая, показал спокойно, что ран на самом деле — четырнадцать, и будто спала с глаз присутствующих еще одна пелена, тщательно сотканная обвинением из мистических впечатляющих намеков.

Вопреки утверждению Сикорского, что убийство это не могло быть совершено душевнобольными, ибо они не в состоянии договориться между собой о слаженности действий, член Медицинского совета Бехтерев, автор многих уже сотен экспертиз, заявил с полной уверенностью, что в убийстве этом «можно признать внешнее сходство с преступлениями такого рода, совершаемыми известной категорией душевнобольных, например эпилептиков, алкоголиков и дегенератов в состоянии патологического аффекта».

Учитель его по экспертизе Балинский был бы доволен своим учеником. Тончайшие психологические наблюдения перемежались и подтверждались строгими анатомическими фактами, а безупречная точность восстановленной им картины убийства — теперь об этом легко писать, поражаясь пронизательности Бехтерева, — особенно удивительна, если смотреть на нее с высоты позднее обнаруженных фактов, полностью ее удостоверивших.

Бейлис был признан невиновным, как известно а истинные убийцы из той воровской шайки выяснены впоследствии. Бехтерев возвращался в Петербург победителем, и только мысли о Сикорском отравляли ему те дни поздравлений и благодарности. Более они не встречались, да и Сикорский вскорости умер.

Вы торопитесь вернуться в свой институт, Владимир Михайлович, вас переполняет законная и естественная гордость честного человека, поступившего сообразно своим убеждениям и сумевшего отстоять справедливость, вы горите нетерпением включиться с новой силой в сотни прерванных ваших начинаний, а знаете ли вы, что победителей тоже, бывает, судят? Исподтишка, старательно и воровато.

Когда человек погружен в любимое дело и оно удается ему, годы летят, а не катятся, и стремительность их осознается лишь при событии, вынуждающем вдруг остановиться и оглянуться с печалью. Пришла однажды пора и Бехтереву изведать горькую неумолимость закона о предельном сроке профессорства. Четверть века его пребывания в профессорах исполнилась в седьмом году. Эпизод с тогдашней попыткой удалить его из академии сохранился в воспоминаниях одного из учеников:

«Это было в один из серых октябрьских дней когда вдруг разнесся слух о вынужденном уходе Бехтерева из академии за выслугой лет.

В переулке, ведущем к клинике Бехтерева, с утра усиленное движение. Студенты большими и малыми группами, волнуясь, идут в клинику. Их много. У нас на первом курсе в этот час по расписанию должна быть лекция — анатомия, на которую все мы и собрались. Но лекция не состоялась, так как единогласно решено отправиться в клинику нервных болезней, где

нелегально собиралась общеакадемическая сходка по поводу ухода Бехтерева.

Обширная аудитория там уже полна и гудит мощно и возбужденно. Кроме всех пяти курсов здесь еще и государственники, у которых осталось только несколько экзаменов. Председателем сходки избран староста государственников, который занимает председательское место, несмотря на то, что ему грозит за это лишение права продолжать экзамены. Долго длится эта памятная сходка, долго не утихает возбуждение, много горячих, возмущенных речей и во всех этих речах одно — не допустить ухода Бехтерева. Иногда вдруг в дверях мелькнет лицо какого-нибудь начальства, но тотчас же и скроется. Пущен слух, что администрация собирается принять какие-то решительные меры к разгону сходки, однако ни один человек не уходит. Единодушно принято решение требовать оставления Бехтерева, в противном случае объявить забастовку. Несколько раз посылается депутат на квартиру к Бехтереву с поручением пригласить его на сходку, где студенчество хочет выразить ему свое сочувствие и свою волю. Его дома не оказывается.

Наконец, уже около четырех часов при электрическом освещении входит в аудиторию Бехтерев. Невозможно описать овацию, которую устроило студенчество своему любимому профессору. Председатель сходки торжественно объявляет Владимиру Михайловичу волю студентов и единодушное решение идти на какие угодно жертвы ради оставления его на кафедре.

Бехтерев глубоко тронут. Тихим голосом среди наступившей мгновенно глубокой тишины, он благодарит и закликает студентов не предпринимать никаких шагов, которые для многих могли бы оказаться губительными.

Однако не легко было унять пыл студенчества, и только после того, как Владимир Михайлович сделал дипломатический ход и указал, что он и сам еще не решил вопроса, оставаться ему или нет, а главное, что вопрос об его отставке стоит не так остро, поэтому горячее выступление студентов может испортить все дело, — только после этого студенты сдались и мирно разошлись».

Это было в 1907 году. Кафедра осталась за Бехтеревым еще на 5 лет.

Не раз огорчалось разное начальство: насколько проще протекала бы жизнь академии, не будь в ней этого всегда невозмутимо спокойного, насмешливо уважительного, каменно твердого в своих принципах академика. Ибо вот чем чревато было его неуязвимое наличие: «Если собиралась общеакадемическая неразрешенная сходка, то это возможно было осуществить только в клинике Бехтерева, где не только не чинилось препятствий, но всегда было безмолвное гостеприимство и атмосфера сочувствия и благожелательности.

За это сверху сыпались строгие выговоры, сопровождаемые грозными предупреждениями, причем влетало всем, начиная от директора и кончая самым молодым врачом».

И все оставалось по-прежнему. Да еще в трехсотлетие дома Романовых вышла книга, перечисляющая разных заслуженных людей страны (самое количество их назначалось косвенно свидетельствовать о мудром правлении царствующего дома), и Бехтерев, как уже говорилось, был назван в ней «гордостью русской науки». Тут бы и вообще подступиться к нему стало бы невозможно, только он сам все сделал собственными руками: поехал в Киев и завалил там такое полезное и перспективное дело... Участь его была решена. Он еще только-только что как уехал, еще вникал только в обстоятельства этого дела, но уже читали его враги и друзья лаконичное и безоговорочное объявление: «Высочайшим приказом по военному ведомству о чинах гражданских... академик, тайный советник Бехтерев отчислен от должности ординарного профессора за выслугой лет».

Это еще цветочки, Владимир Михайлович, это еще только начало. Продолжение следовало незамедлительно: министр народного просвещения категорически отказался утвердить Бехтерева, единодушно избранного опять по истечении срока, президентом Психоневрологического института. Профессорам было предложено избрать другого президента.

Истинная причина этого решения была всем ясна — и друзьям Бехтерева, и его врагам. Газета «Русский врач» с возмущением писала, что «стремление изъять из ученых и учебных коллегий Петербурга одного из достойнейших членов их, лишить молодые ученые силы и учащуюся молодежь одного из наиболее выдающихся учителей и руководителей» — это, конечно же, «возмездие за общественную деятельность», наказание за вмешательство в политические дела. Газета «Земщина» тоже так считала, но возмущалась она не решением министра, а угрозой студентов объявить забастовку в знак «протеста против отказа министерства народного просвещения в утверждении президентом института профессора Бехтерева, прославившегося позорным выступлением по делу ритуального убийства Андрюши Ющинского».

Итак, прощай академия. И институт, любимое детище, тоже, по сути дела, прощай. Хоть и поведут его другие — ученики, друзья, соратники, но все равно это невыносимо больно и обидно. Все теперь труднее станет, сложнее и непонятней. Ладно, впрочем, знал ведь, на что иду, ввязываясь в это экспертное дело. Да и некогда особенно предаваться скорби: остались лаборатории, остались толпы пациентов и насущнейшей важности неприятное и непрерывное продолжение тайной борьбы за сохранение института. Борьбы, которую никто не видит, о которой знают немногие, без которой он давно уже был бы закрыт.



Ибо продолжалось, шло, катилось наступление на уникальный Психоневрологический институт. Уже градоначальник непосредственно царю донесение об институте составил, и особо отмечалось в нем «определенно выраженное противоправительственное направление как преподавательского его персонала, так и всего состава слушателей, а также вредное влияние этого института на другие высшие учебные заведения столицы и на рабочее население этого района, где расположено названное учреждение». И уже царь собственноручную пометку сделал на полях доклада: «Какая польза от этого института России? Желаю иметь обоснованный ответ».

По убеждению недреманного ока пользы от института для России не было ровно никакой. Научная и человеческая польза — таких понятий не было в поле полицейского зрения, а все остальное составляло явный вред и пагубу. Но не так просто было институт закрыть. Слишком много высокопоставленных пациентов лечилось у низложенного президента, и к самой императрице был он, по слухам, вхож. (Позднее он и сам рассказывал, что и впрямь лечил эту «обычную красивую истеричку», только привозили его тайно, будто бы к заболевшей фрейлине, чтобы визитом знаменитого психиатра не подорвать репутацию царствующего дома.)

И все-таки институт удалось закрыть. Не помогло ничего: ни высокие связи академика Бехтерева, ни госпиталь для тяжелораненых, открывшийся в нейрохирургической клинике Бехтерева в первые же дни войны, ничего. Приказ о закрытии института был, наконец, подписан.

Оставалось три дня до Февральской революции.

Средняя дочь Бехтерева писала в своих воспоминаниях, что очень, очень редко видела отца возбужденным. Но один раз запомнила надолго. Он ехал куда-то в открытой машине, которую остановил единственно, чтобы крикнуть торопящейся дочери:

— Леночка, революция! Теперь у нас будет республика! — и расхохотался огулшительно, будто сам впервые услышал счастливейшее известие.

Радостно встретив Февральскую революцию, сразу и безоговорочно признав Октябрь, он все к той же цели пробивался настойчиво и устремленно. Он открывает Институт мозга, о работе которого восхищенно писал посетивший его в те годы итальянский невролог: что, достаточно будучи знаком с научным миром Европы, ни разу не встречал он «столь грандиозного института, который бы так успешно сочетал античный синтез и современный анализ».

Продолжалось осуществление пожизненной идеи бехтеревской, продолжалось познание человека. С самых первых дней его детства. Ибо и в

изучении психологии ребенка Бехтерев оказывался одним из пионеров. Чтобы эту нить его жизни раскрутить, мы вернемся к началу века, даже чуть ранее сперва — к биографии одного удивительного человека, с которым он не мог не встретиться.

Зимин родился в Сибири, и всем, что оказалось вложено в него (много было вложено, очевидно, да и падало на благодатную почву), обязан был декабристу Поджио. Когда-нибудь непременно будет написана подробнейшая и глубокая книга о том, что принесли декабристы людям Сибири, а с ними — и всей стране впоследствии, ибо эстафета благороднейшего воздействия чистейших героев декабря продолжалась и в областях, казалось бы, весьма далеких от непосредственного освободительного движения.

Потом Зимин учился в коммерческом училище в Петербурге, уехал в Бельгию, поступил в университет в Льеже, вернулся — расстроились дела отца, оказался предоставленным самому себе, много лет мотался то по заработкам, то в попытках подучиться, служил конторщиком, бухгалтером, контролером в банке, товарищем директора, кем-то еще и еще. И более двадцати лет львиную долю жалованья, скудного сперва, потом весьма большого откладывал и откладывал.

Не для собственного дела копил, не ради богатства и обеспечения. А только ради воплощения странной для окружающих идеи: повлиять на народное образование в России. В нем надежду он видел единственную на переустройство и просветление жизни и самого духовного климата. Это он почитал главной целью своего существования, относился как к пожизненному служению, как к назначению своему в этом мире. Себя воспитывал неустанно, держал в строгости и неукоснительном следовании цели и ощущал себя сполна счастливым, видя, что приближается к ней.

И накопив порядочный капитал, принялся субсидировать и устраивать всяческие просветительские учреждения. Поразительного человека этого многие считали сумасшедшим: нажить капитал неустанным изматывающим трудом и немедленно, вместо того чтобы приумножать его, вкладывая в подходящее дело (которых вокруг пропасть была — Россия развивалась стремительно), вдруг транжирить его без жалости и оглядки на заведомо пустое, без отдачи и возмещения просветительство! Он участвовал в устройстве воскресных и начальных школ, библиотек и читален, давал деньги на подвижные музеи наглядных учебных пособий, организовал санаторий для учителей, основал бактериологический институт при Томском университете. Он не жертвовал деньги, не ссужал их и не филантропствовал — он их навязывал, предлагал, заставлял взять, сам организовывал и устраивал. Ну не сумасшедший, скажите?

А спустя десять лет вдруг опомнился, как выздоровел внезапно. И не потому, что деньги иссякли, и не потому, что вдруг о собственной старости задумался, подбивая расходы и остаток, а лишь только потому, что новая идея появилась. Сперва просто глубокая, настоящая мысль встревожила — из тех, что иному профессионалу-психологу или педагогу за всю жизнь в голову не западала: а на всех людей ли равно действует образование? Так ли уж и в самом деле благотворно? Почему на части человечества никакое воспитание, никакая школа не сказывается? Не это ли следует познать сперва, уж потом просветительством занявшись с более полным пониманием дела? Как, однако, подступиться и с чего начинать? С детского возраста, несомненно. С самого что ни на есть младенческого, чтобы подсмотреть первую завивку пружин ума и характера, отделить по возможности, что дано и что привносится, а повезет — и угадать, как построено должно быть воспитание, чтобы светлые черты упрочить, а темные на корню убрать. Нереально? Тогда хотя бы выяснить, как зарождается и чем питается влечение к знаниям и по какой причине у множества отмирает, не успев расцвести. Одним словом, надо, важно, необходимо изучать человека с младенчества.

В девятьсот восьмом году в журнале «Нива» торжественно и красиво писал некий очеркист: «И мало-помалу этот простой, неученый, но обладающий здравым смыслом и энергией человек приходит к той же мысли и к тому же выводу, к которому пришел блестящий профессор и обладающий громкой европейской известностью ученый психиатр Бехтерев. И судьба свела их».

К мысли о необходимости изучать человека с младенчества Бехтерев, положим, не сам пришел. Мысль эта в те поры просто носилась в воздухе, которым дышали его коллеги, и ее как раз излагал некогда почтительно внимавшему студенту молодой и упоенный планами ординатор Сикорский. Мысль эту Бехтерев уже отчасти реализовал: вел наблюдения за собственными детьми и отрывки из дневника печатал. Во всем мире тогда начинались подобные исследования, но никому из пионеров детской психологии и не снился эксперимент, единолично учиненный в России благородным сумасбродом Зиминим.

Еще с девятисотого года бегал он по разным педагогическим чиновникам, предлагая устроить (на его же деньги, безвозмездно!) особое некое учреждение, где бы изучались специалистами все тончайшие проявления детской психики. Предлагал он открыть «интернат для изучения человека как предмета воспитания».

Выслушивали, благодарили, отказывались. Кто на трудности обустройства кивал (хотя Зимин брал на себя организацию), кто, научившись волынить по-научному, не без важности объяснял богатому пожилому сумасшедшему, что изучать ребенка ради воспитания — дело пустое и напрасное, ибо все

определяется наследственностью. Сколько было теоретиков педагогики, столько и отказов было.

Тут-то и пустился Зимин на прекрасную, удивительную авантюру. Устроил интернат самостоятельно. У какой-то матери, от неизвестного ей мужчины родившей, собиравшейся в приют нести ненужного ей ребенка (а то, быть может, и похуже поступить готовой), выкупил он крохотного младенца. Нанял квартиру с прислугой и кормилицей, уговорил какого-то врача, оставалось за малым дело — знать, что именно изучать в этом столь необычном интернате.

И тогда-то — за советом хотя бы — обратившись в Общество нормальной и патологической психологии, вышел Зимин на Бехтерева. Ясно вижу отчего-то, как они сидели друг против друга: широкобородые, высоколобые оба, с лицами, чем-то неуловимо похожими по рисунку и выражению — энергия, разум, доброжелательство. И общий язык отыскивали они немедленно. Подпольный интернат Зимина становился основой вновь созданного, первого в мире специального института по изучению раннего детства. Оставшихся накоплений (сбывалась заветная цель, во имя которой откладывались эти нелегко нажитые деньги!) хватило на постройку здания и учреждение фонда, проценты с которого шли на исследовательские нужды. Сохранились фотографии очаровательного годовалого крепыша, круглого и явно плотного, как репка, — так выглядел первый в мире «человек как предмет изучения и воспитания» Сережа Паринкин.

Дадим опять слово журналисту, который писал об этом по свежим следам, посетив только что открытый институт, где других детей пока и не было еще (вскоре они появились):

«На долю Сережи Паринкина выпала почетная роль первого помощника науки в деле исследования детской психики и установления научных доктрин воспитания. Придя в зрелый возраст он, наверное, будет очень гордиться своим участием в первом и единственном во всем мире ученом учреждении.

Но теперь Сережа ведет скромную, хотя и не лишенную приятности жизнь. У него имеется немало занимательных учебных пособий (профаны называют их игрушками): зайчиков, лошадок, кукол, и он усердно изучает их внешний вид, и физические качества, и свое отношение к ним («играет» — говорят профаны)».

К этим словам моего коллеги и предшественника следует добавить существенные мелочи и детали: отношение Сережи к игрушкам он изучал не сам, ибо равно, как пульс его, и дыхание, и постепенное развитие всех органов чувств, и становление движений, и восприятие всего живого и неживого, и эмоции — от радости до испуга — прослеживали внимательные и неназойливые исследователи. Это начиналось первое подлинно научное —

ибо объективное, а не по домыслам и попыткам проникновение в детскую душу с набором взрослых понятий, изучение детской психики.

Интересно бы узнать, как сложилась дальнейшая судьба Сережи Паринкина. Автору это выяснить не удалось. В годы первой мировой войны институт переехал в Пензу, там и затерявшись бесследно. Может быть, отыщется где-нибудь, всплывет внезапно жизнь первого «человека как объекта изучения и воспитания»? Хорошо бы отыскалась. Интересно.

А Бехтерев в восемнадцатом году возобновил исследования на детях, и многое из того, что известно сегодня о младенческом периоде созревания человека, обязано началом своим, истоками и зарождением тому же неумемному бехтеревскому любопытству. И Зимину, безвестно канувшему куда-то. Кажется, он даже собственной семьи не имел.

Бехтерев и своих детей использовал для исследовательских целей. Особенно младшую, любимицу, последнюю дочь, пятого своего ребенка — Марию. Он собрал большую коллекцию детских «рисунков девочки М.» — так подписаны они были при воспроизведении в его статье «Первоначальная эволюция детского рисунка в объективном изучении». От штришков и каракулек до вполне осмысленной композиции были собраны здесь «рисунки девочки М.» по мере ее подростания. И дан им интереснейший анализ.

А потом оставлена им была и эта тема. Ученики продолжали и здесь, с благодарностью ссылаясь на Бехтерева — зачинателя, вдохновителя, автора идей и методик, снова бросившего все, как только началось продвижение по отверстой и размеченной им дороге.

Мужичонка был невысокий, щуплый, несложившийся, с явными следами частых голоданий в детстве и молодости. Он не сразу понял, чего от него хотят, а потом оживился, чуть заважничал даже, приободрился и рассказал все очень связно и обстоятельно. Печальный большой медведь с бурой свалывшейся шерстью, хозяином которого был рассказчик, быстро наелся и задремал от непривычного изобилия вкусной пищи. Но и во сне, неловко лежа, привалившись к пню, он загребал лапой, то отгоняя овода с глаза, то нащупывая, не пропал ли ненароком оставшийся кусок ситного хлеба, огромный каравай которого сам щуплый хозяин проводил глазами сожалеюще, когда его кидали зверю.

Медведь плясал под гармонику, на которой резво играл хозяин. Они выступали в деревне недалеко от охотничьего домика брата, к которому заехал Бехтерев погостить во время летних студенческих каникул, и брат по его просьбе охотно кликнул мужичонку зайти, когда толпа деревенских принялась расходиться. Тот робел сперва, невнятно бормотал о разрешении, но быстро сообразил, что господ интересуется что-то другое. И, угостившись охотно, а закуску чуть-чуть отведав, изложил все, что спрашивали.

Вот как дрессировали у них медведя, чтобы после водить его напоказ. Вырывалась большая яма, на дно ее клали железный лист, а под него — наискосок — рыли узкое отверстие, куда кидались сухие ветки. В яму опускали медведя, кто-нибудь играл на гармонике (дудка годилась, бубен — кто во что горазд), а ветки поджигались внизу. Лист железа нагревался, медведь переступал лапами, выл от боли и страха, а музыка все играла. Длилось это недолго, но хватало медведю на всю жизнь. Вытащенный из ямы, он с той поры, едва слышав музыку, начинал плясать точно так же, как тогда в яме. Вот и вся недолгая выучка. В обстоятельном изложении мужичка она длилась дольше, чем происходила на самом деле.

Бехтерев тогда записал всю эту народную процедуру дрессировки и долго, очень долго раздумывал над удивительным последствием такого одновременного сочетания музыки — раздражителя, безразличного до поры, и раздражителя безусловного, влиятельного, самого влиятельного — боли. Это было в восемьдесят шестом году, и не забывалось очень долго. Десять лет спустя, обдумывая, как подступиться к исследованию человека с какой-нибудь полноценной, совершенно объективной методикой, он опять вспомнил о том сочетании двух сигналов — боли и звука, и, назвав вновь появляющийся рефлекс на звук сочетательным, отложил эту методику до поры. До времени, когда основательно приступит к изучению личности. Шли и шли работы по вскрытию функций мозга, по его участию в самых интимных процессах жизни организма, а без этой ясности приступаться к человеку было рано. Кстати, сами функции разных областей часто вскрывались именно с помощью методики дрессировки или сочетательных рефлексов, как назвал он заученные реакции. Животное обучалось какому-либо двигательному или иному навыку, а потом исследователи смотрели, что за область мозга участвует в исполнении заученного, воздействуя на предполагаемый в участии отдел мозга.

И вдруг — в это время как раз выходили один за другим выпуски семитомных «Основ учения о функциях мозга» — сообщение из лаборатории Павлова. Сотрудник его получил выделение слюны на звук, который несколько раз предшествовал кормлению, и теперь вызывал слюну сам. Такой же, в сущности, точно такой же сочетательный рефлекс! У Павлова его называли условным. И прекрасно — вот она, методика объективного психологического исследования. Работы в лаборатории Бехтерева велись с человеком — слюнная методика тут, естественно, не годилась; они раздражали стопу или палец испытуемого слабым ударом тока и получали двигательную реакцию. Ее можно было получать от самых разнообразных раздражителей — света, звука, просто осмысленного слова, прикосновения или запаха. Здесь открывались широкие расходящиеся пути познания того, как реагирует человек на события внешнего мира в зависимости от различных свойств и особенностей его личности.

Изучение сочетательных рефлексов (тех же, что Павлов назвал условными) давало возможность отыскать строгие и беспристрастные, объективные способы исследования психической жизни. Отсюда же, кстати, и широчайшее их распространение по всем лабораториям мира. Притом интересно, что американцы, например, переведя немедленно книгу Бехтерева «Объективная психология», с жаром принялись следовать по бехтеревскому пути, но вот название рефлексов — условные — пришло прочнее и глубже, чем сочетательные, и последователи «объективной школы русских рефлексов» уже не различали, где они следуют Павлову, а где переключаются с Бехтеревым. История науки твердой рукой зачеркивала маловажную для нее и мелкосуетную рознь двух великих исследователей, ставя их рядом как провозвестников и зачинателей новой психологии.

Естественное развитие науки на крутых своих подъемах и поворотах часто кажется настолько радикальной переменной тем пионерам, которые творят эти перемены, что они стремятся прежде всего перечеркнуть и все понятия, устоявшиеся до них. Так, например, Павлов наложил в своей лаборатории запрет на все названия старой психологии, изгоняя их распеканиями сотрудников и шутивными, но памятными штрафами. Вместо «глаз» или «ухо» говорили непременно «анализатор», но добавляли — слуховой или зрительный, и перекрасившийся таким незатейливым образом бес старой психологии все равно насмешливо присутствовал опять во всех чисто физиологических изысканиях.

И у Бехтерева принялись говорить «следы» вместо «память», вместо «внимание» — «сосредоточение», и чисто словесные игры эти, играемые всерьез, — от молодецкого замаха на все веками устоявшие каноны, обернулись тем, что и сама психология начала именоваться рефлексологией. Здесь уже была не игра. Здесь естественно и четко обозначился у героя нашей книги тупик развития, тот предел понимания мира в своей области, что положен каждому смертному, будь он хоть семи пядей во лбу, и просто на очень разном уровне достигается каждым из людей, что и различает их по творческим потенциям.

Бехтереву представилось неоспоримо, будто рефлексам, этим набором реакций на события внешнего мира, можно универсально и достоверно объяснить все человеческое поведение, все без исключения поступки и мысли, все проявления личности — от будних дел до высокого творчества.

Легко писать об этом сегодня, с высоты сегодняшнего, сотнями исследователей достигнутого понимания того, что рефлексы — только элементарные кирпичики психики. Но тогда, в первые десятилетия века, уровень представлений школы Бехтерева и Павлова был максимально возможной глубиной понимания той бесконечной сложности мира, куда и по сей час каждый мельчайший шаг дается ценой многолетних коллективных

усилий. Тем более следует оценить всех оппонентов того времени, кто возражал против претензии физиологов на понимание (наконец-то!) психической жизни живых существ. Ярко и точно возражал своему соратнику и другу по Психоневрологическому институту замечательный психолог Вагнер. Вот две удивительно современные, провидческие и глубокие цитаты из его охлаждающей пыл физиологов статьи. Сперва, правда, воздаяние им должного:

«Физиология была и будет только азбукой биопсихологии. Никто не думает, разумеется, чтобы азбука эта, как и всякая другая, была неважным делом: заслуги Кирилла и Мефодия перед Россией не меньше Тургенева и Толстого, уже потому одному, что не научившись азбуке, нельзя было бы ни написать, ни прочесть — произведения этих писателей, нельзя было бы узнать того необходимо важного, что они говорят».

И далее: «Что высшие психические способности, а в связи с ними и поведение людей и высших животных в основе своей имеют рефлексy — в этом никто за последнее столетие не сомневается; но из этого отнюдь не следует, чтобы, познав основу, то есть рефлексy, мы с тем вместе познали и то, что на этой основе возникает и развивается».

Класс рептилий, — пишет Вагнер — составляет основу класса птиц, и класса млекопитающих животных; было бы, однако, легкомысленно искать в клюве голубя зубы ящерицы, а в костях ног крокодила — цевку птиц. По фундаменту дома нельзя судить, что на нем будет возведено: бакалейная лавка, химическая лаборатория или контора нотариуса; еще того менее можно рассуждать о качестве деятельности лавочника, химика и нотариуса. А физиологи как раз пытаются это сделать».

Не возражения, однако же, как бы ни оказались они весомы, могли остановить Бехтерева, если он был убежден и уверен. Да притом слишком долго занимался он всяческой коллективной психологией, и оттого немедленно вслед за толстыми томами «Общей рефлексологии», относящейся к психике индивидуальной, он принялся за коллективную, пытаясь и ее целиком представить в виде набора рефлексов, многие из которых измыслил сам, а многие заимствовал из современной ему физики. Аналогии с ней казались ему убедительными, и книга его «Коллективная рефлексология» наполнена была законами индукции, относительности, и прочих физических понятий, приложенных им (не без внешней убедительности, надо признаться) к коллективному поведению людей. Ну что же, его естественно и неизбежно ожидал соблазн выдвинуть какую-либо всеобъясняющую глобальную концепцию или целый набор их, что он и сделал. При его разбросанности, при широте его интересов, при необъятной эрудиции и подстегивающем исследовательском темпераменте он не мог избежать этого, не мог не заблудиться, просто должен был сорваться в



крупные полуфилософские построения, которыми так часто в истории науки грешили крупные ученые (тот же, к примеру, Оствальд, пытавшийся заменить материализм энергетизмом), к конфузу и сожалению своих биографов. Бехтерева этот соблазн, естественно, ожидал в психологии, которую он снизу доверху пересмотрел под углом своего чрезвычайно механистического, еще прошлому, пожалуй, веку более принадлежащего видения мира. Отсюда и привлечение в психологию всяческих понятий физики.

Однако ведь живая, одушевленная тем более материя начинает жить по совершенно иным, куда еще как непознанным законам бытия, и законы физики уже неприемлемы для нее, даже аналогии начинают хромать с первого же шага. И однако именно их-то, сразу хромых, принялся Бехтерев гонять под маршевые ритмы известных ему законов физики из тогдашнего вузовского учебника по всем бескрайностям человеческих проявлений, во всю мощь своей психологической, исторической, чисто человеческой эрудиции. Друзья и ученики молчали в тягостном недоумении, другие подняли шум. Заблудившийся гигант — действительно приятная мишень для полемики.

Справедливая безжалостность таких битв уже в совершенно ином свете выглядит сквозь миротворящую дымку лет: ведь исследователь, мыслитель, зашедший в тупик, собственной жизнью перекрывает путь другим, обозначая бесплодный курс, но это только первая его заслуга. Кроме того, он ведь непременно приводит наблюдения и факты (у Бехтерева их — неисчислимое множество), пригождающиеся другим. Он выдвигает идеи и ставит проблемы, о которых полезно говорить и думать, а такой толчок к мышлению, такие отправные точки последующего поиска тоже ведь грех скидывать со счетов. Да и самое сокрушение ошибочных его идей и гипотез обогащает и изощряет коллективный человеческий разум. Только это все становится кристально очевидным впоследствии, а современники лишь яростно оспаривают предлагаемое, и тем ожесточенней эти битвы, чем крупнейшей фигуры спорящих.

Дебаты и дискуссии тех лет только начали то, что завершил уже после его смерти неумолимый ход познания, естественно отбирающий и оставляющий от каждого только достоверное и полноценное. Отсекающий все остальное, временное и случайное, без права на апелляцию, без возможности вмешаться и повлиять.

История науки прихотливо меняет освещение и масштаб людей и явлений, расставляет все и всех по местам, ничуть не считаясь с былыми рангами и ранжирами. И это безжалостное, но справедливое воздаяние по реальной прижизненной отдаче для одних оборачивается забвением, для других — наконец-то, истинной мерой. И если какое-то время на эту оценку еще

вливают многие обстоятельства, искажающие объективность, то потом неизбежно и неотвратимо отпадают преувеличения и недооценки, и ясность чуть отчужденного, с музейным холодком понимания осеняет приговор времени.

И те книги Бехтерева, что полны опровергнутых, сомнительных и отвергнутых ныне идей, с наименьшей пользой читают сегодня все, кто продолжает познание человека и человечества.

Следы его пионерской проходки остались ныне даже там, где и по сегодня исследователи чувствуют себя неуверенно и чуть конфузливо, опасаясь скомпрометировать свою академическую серьезность и проявить чересчур глубокий интерес. Речь идет об окраинной и туманной области психологии, и на этом стоит ненадолго остановиться.

Детей, как говорилось уже, было пятеро, но самую младшую, поздно родившуюся и долго болевшую в детстве, а потом — хохотушку и рисовальщицу Машу он любил, тщательно скрывая это, больше всех. Собирал ее детские рисунки, выходил из кабинета, слышав, что она кашляет или плачет, брал даже изредка с собой, когда ездил по недолгим делам. Ей он обязан — что забавно — несколькими сериями совершенно особых в его работе экспериментов. Особых в его работе и первых в России в этой области. Ибо, проезжая однажды вместе с Машей весной четырнадцатого года по Петроградской стороне, согласился вдруг неожиданно для себя самого, так умоляла дочь, бросить все вечерние дела и пойти с ней вместе в сверкающий, зазывающий, весь яркими афишами облепленный цирк Модерн.

Это был настоящий цирк! Наездники кувыркались на спинах несущихся лошадей; плясуны такое выделывали на канате, что захватывало дух, и Маша попискивала от страха и восторга; женщина-змея только что не завязывалась узлом, а жонглер лихо метал кольца чуть ли не под самый купол. Два клоуна нещадно раздавали друг другу оплеухи, от которых перевертывались вокруг себя, а в конце второго отделения выступал сам Дуров со своими дрессированными животными. Мыши катались у него на кошках, зайцы играли на барабане, черт-те что выделывали собаки.

И когда огромный и медлительный сенбернар по кличке Лорд, очень подхлывшей к его осанке, принялся по заказу публики складывать и вычитать числа и обозначать сумму лаем (единственное условие — сумма или разность чтобы не более девяти, пролаивать больший результат он пока не умеет, объяснил Дуров), Бехтерев закинул голову и расхохотался, не выдержав. Дуров, коротко и быстро глянув в их сторону, продолжал принимать заказы на устный собачий счет.

И вдруг, когда уже аплодисменты окончательно прекратились, и публика толпилась в четырех проходах, и по арене сновали уборщики, вдруг все замерли, зашептались и усталились на бесплатное дополнительное зрелище, а Маша прижалась к отцу в полном и боязливом восхищении. Прямо к ним, приветливо улыбаясь, румяна даже не смыв и в блестящем, шитом блестками костюме, пробирался навстречу потоку публики сам волшебный укротитель Дуров.

Он почтительно поздоровался, сказал, что давно очень хочет познакомиться, что вот гастроли забросили его сюда, а послезавтра ему в Москву, и что очень хочет встретиться — поговорить и показать нечто заведомо интересное: мысленное внушение собакам на расстоянии. Бехтерев пригласил его назавтра к себе домой. Мы втроем будем, сказал Дуров: Лорд со мной придет и Пикки, фокстерьер.

Так начались их совместные эксперименты, прерванные мировой войной, а после возобновившиеся в Москве. Шестидесятидвухлетний Бехтерев целые ночи просиживал у Дурова в его знаменитом ныне уголке, упрямо ставя опыт за опытом, самому себе не веря и ассистентов загоняя к утру до изнеможения. Результаты, полученные ими, остались в виде сдержанных строгих протоколов, подписанных еще и несколькими свидетелями. Интересно, что и свидетели эти, сами тоже врачи или естественники, начинали с сомнений и ухмылок, а потом увлекались, как мальчишки. Опыты были не чересчур разнообразны — главное в них было, что получались.

Сам же Бехтерев еще и по той причине этими опытами так увлекся, кроме своего любопытства неиссякающего, что проводил уже подобные с одной из своих пациенток, молодой девицей необычайной нервной впечатлительности и поразительной зрительной памяти (повторяла, например, безошибочно и сразу до семидесяти пяти прочитанных слов). Опыты производились так: на столе, перед которым она сидела, раскладывалось несколько нехитрых предметов: коробок спичек, раковина, папироса, отдельная спичка, расческа, зеркало, карандаш, зубная щетка, что-нибудь еще. А на расстоянии от нее, к ней спиной сидели за высокой плотной ширмой экспериментаторы. Предметы, лежавшие на столе, переписаны были на бумажные билетки, перемешанные в шляпе, из которой кто-либо из врачей доставал по одному билетку и передавал (не читая сам) тому, кто прочитывал и старался мысленно представить себе этот предмет. Испытуемая почти все время безошибочно угадывала представляемую мысленно вещь.

Животные Дурова тоже проделывали один за другим чудеса совершения задуманных действий. Например, собака должна была «вскочить на один из стульев, стоявший у стены комнаты позади от собаки, а затем, поднявшись на стоявший рядом с ним круглый столик, должна была, вытянувшись вверх, поцарапать своей лапой большой портрет, висевший на стене над столиком».

Остальные, столь же нехитрые эксперименты были подобны этому, и описание их Бехтерев заключил так: «То, что все мои опыты были произведены по заданию, известному только мне одному, некоторые же были произведены в отсутствие Дурова... должно быть, в свою очередь, учтено скептиками соответствующим образом».

Протоколы экспериментов этих, впоследствии частично опубликованные Дуровым, частично описанные Бехтеревым, так и остались почти забытыми среди нескольких десятков его книг и более чем шестисот статей. Просто вот — еще одна неразведанная область психики, к которой тоже приложил руку порой излишне увлекавшийся исследователем, ничего не пропускавший в круге сведений о возможностях человека.

Собственную свою жизнь каждый врач растрчивает бесследно в жизни своих больных, и если бы написать когда-нибудь жизнь крупного врача состоящей из истории болезней его пациентов, картина получилась бы куда более впечатляющей, чем любое его личное жизнеописание.

Бехтерев лечил тысячи и очень многим помогал. Здесь совсем не всегда лекарства сказывались, еще куда как слабые в его время, а часто (и, быть может, чаще всего) — то врачебное, сродни гипнотическому обаяние неизученного вида, что само по себе действует целительно по неисповедимым пока путям и законам. Недаром Бехтерев, один из основателей современной психотерапии, говорил справедливо и точно, вслед за учителями своими, передавая ученикам древнюю эту мудрость, что тот не настоящий врач, после разговора с которым больному сразу — сразу же! — не становится легче. А ему самому приходили, например, и такие письма: больная просила прислать ей его фотографию, потому что при одном взгляде на портрет ей уже, бывало, становилось немного лучше. Или вот письмо, лежащее в его архиве, самое начало, вернее, этого письма, говорящее достаточно много о врачебной репутации Бехтерева: «Истинно душевноуважаемый! Один из достойнейших, посланных Господом на помощь беспомощным. К кому прибегнуть за советом? Только подобные Вам, умеющие чувствовать, имеющие светлую Голову, доброе Сердце и огромный Опыт могут дать желаемый совет, чтобы спасти гибнущую жизнь сына...»

Писем таких — множество. Просительных, благодар-ственных, спрашивающих. Верили, почитали, надеялись.

Однако же если расспросить слышавших и знавших о нем, нашлось бы немало людей, высоко интеллигентных и знающих, вполне способных понять и оценить его личность и усилия всей его жизни и тем не менее склонных назвать его в сердцах фанатичным циником или циничным фанатиком. Первым среди таких был бы, несомненно, врач, неотлучно находившийся

подле Толстого все последние предсмертные дни. Ибо еще надеялись спасти великого старца, принимали все возможные меры и старались даже не думать о неотвратимости скорого конца, а из Петербурга вдруг пришла от академика Бехтерева телеграмма с просьбой (даже с требованием, скорее) непременно сразу же после смерти изъять и законсервировать мозг, необходимый для научного обследования. Телеграмма этого святотатствующего фанатика осталась, естественно, без ответа, можно представить себе, какие чувства вызвала она в те дни у неустанно хлопотавших близких.

А вот мозг Менделеева сохранить удалось благодаря такому же вмешательству и непротивлению вдовы, столь долго жившей среди непрестанных разговоров о науке, что согласившейся почти без колебаний.

А в двадцать седьмом году появилась статья Бехтерева с предложением создать Пантеон мозга — чисто научное учреждение для исследования особенностей мозга выдающихся своим талантом людей. Бехтерев писал бестрепетно и настойчиво:

«Почти каждый месяц приносит нам вести о смерти того или другого выдающегося деятеля, тленные останки которого опускаются в могилу. Со смертью великих людей их мозги вместе с телами опускаются в ту же могилу для тления и поедания червями. Не правильнее ли было бы, чтобы наука имела на мозги великих людей свои права и не встречала бы вполне безразличного отношения и нередко даже противодей-; ствия со стороны близких людей, стоящих у гроба умершего таланта, заботящихся прежде всего о похоронных церемониях и не думающих вовсе о том, чтобы сохранить в качестве драгоценной реликвии мозг великого человека для науки и потомства?»

Он вспоминал о недавних тягостных потерях — замечательные художники Кустодиев и Васнецов, поэты Блок и Есенин, называл другие имена. Скорбь наша не должна, упорно писал он, препятствовать тому, чтобы и посмертно люди эти оказались, может быть, полезны будущему человечеству сведениями, которые добудут исследователи заведомо необычного мозга.

Какого рода будут эти сведения, неизвестно, кстати, до сих пор. Вес мозга не имеет никаких соответствий со степенью и характером одаренности. Самый легкий из известных — мозг Анатоля Франса — приближался по весу к мозгу австралийского дикаря, а вдвое более тяжелый мозг Тургенева граничит в таблице веса с мозгом врожденного слабоумного. Но все равно остается надежда, писал Бехтерев в той давней статье, «воочию показать, чем выражается в самой пластике мозга, во внешнем строении его борозд и извилин, в структуре их клеточных слоев, в развитии сочетательных волокон коры и сосудов мозга... тот таинственный сфинкс, который именуется гением».

Он писал об особенностях мозга химика Менделеева, композиторов Баха и Рубинштейна, оратора и политика Гамбетты, и это лишь начало, писал он, ведь наука движется далее и вглубь, надо сохранить ей драгоценнейший этот незаменимый материал.

К его выступлению присоединилось еще несколько известных ученых. В Институте мозга, созданном им, уже был, собственно говоря, огромный и представительный музей нервной системы, речь шла о том, чтобы он пополнялся экспонатами, превращаясь именно в пантеон мозга выдающихся личностей.

И пантеон этот был учрежден. И судьба распорядилась со свойственной ей иронией: первым оказался в музее мозг его создателя.

Бехтерев умер неожиданно и быстро. Настолько неожиданно и быстро (отравился консервами поздно вечером, а ночью его уже не стало), что еще одна возникла легенда: будто кто-то отравил его специально ради неразглашения тайны диагноза, поставленного им на приеме. Эта легенда оказалась чрезвычайно живучей, несмотря на полное отсутствие подтверждений. Так наше сознание устроено, что с великими людьми должны быть связаны громкие глухие легенды, и не отсутствию фактов поколебать эту нашу потребность в мифах. Цинковый гроб, где урна с прахом соседствовала с законсервированным мозгом, отправлен был в Ленинград (он умер в Москве) при огромном стечении народа. Сохранились документальные кинокадры о торжественных этих проводах по морозной декабрьской столице.

В этот свой последний приезд в Москву он был так оживлен и деятелен, столькими идеями делился со множеством людей, не зная, что уже завещает им эти мысли, будто и не было ему полных семидесяти лет. Он по-прежнему не мог минуты просидеть без дела, отдыхая — писал, читал или участвовал в разговоре, а если расслаблялся на считанные минуты — немедленно засыпал. Впрок, ибо ночью по-прежнему спал от четырех до пяти часов. Так Чуковский вспоминал однажды, как Репин, рисовавший Бехтерева, специально попросил молодого тогда литератора о чем-нибудь непрерывно разговаривать со знаменитым психиатром, чтобы тот, улучив момент, не отключался отдохновенно. Что Чуковский и делал старательно все сеансы, пока Бехтерев позировал Репину. Незадолго до смерти один скульптор лепил его портрет (многих привлекало его лицо — дремучее и вдохновенное одновременно), и Бехтерев, не в силах сидеть без дела, взял кусок глины и вылепил голову мальчика-меланхолика. Работа была столь качественная, что скульптор, недолго думая, приделал ее сбоку бюста, обретшего сразу же удивительную необычность (так он и стоит теперь в музее). И сказал Бехтереву, смеясь, что, когда надоест ему заниматься исследованием человечества, пусть приходит смело в мастерскую — для таких рук

скульптор всегда найдет работу. Бехтерев согласился готовно, объяснив, что пластика мимики вообще давно его интересует. Может быть, попробуем на днях? Так и договорились полунасмешливо.

Не пришлось. И от шкафа к шкафу прокинулся заградительный шнурок в его мемориальном кабинете, где на столе еще лежали рукописи. Многие неразобранные до сих пор...

*1977 год*